

Игорь Кожухов

Булёмина любовь

Содержание

Новые чудики. XXI век. (Предисловие)	3
Дедова правда.....	13
Булёмина любовь	19
Сын	26
Мамка	31
Шаг	41
Вторая жизнь	70
Яма	102
Защитник.....	114
Поводырь	121
Пойдём жить!.....	147
Война	159
Дуэль	163
К нему.....	193
Инвалид	200
Все там будем!.....	208

2015 год

ББК 87 Р7
К-58

Кожухов И.А.

К-58 Булёмина любовь. Рассказы. — Новосибирск. Редакционно-издательский центр «Новосибирск» НПО СП России, 2015. — 224 с.

ISBN 978-5-900-152-60-3

Сборник рассказов «Булёмина любовь» - первая книга новосибирского автора Игоря Кожухова - адресована широкому кругу читателей.

Ценителей прозы - крепкой, по-настоящему «сибирской» - ждёт встреча с яркими самобытными героями, перед которыми жизнь ставит трудные задачи, и каждый должен свершить единственно верный, по его мнению, шаг - и обратной дороги нет. Драматичные, подчас трагичные, истории не лишены юмора, они не оставляют читателя равнодушным: держат в напряжении, заставляют сопереживать героям.

Имя И. Кожухова, по праву, достойно занять своё место в ряду писателей-сибиряков, следующих традициям русской прозы.

«Булёмина любовь» - первый серьёзный шаг на пути к успеху.

Благодарю за помощь и моральную поддержку в создании книги коллектив Литературного Объединения «Молодость» г Новосибирска и её руководителя, члена Союза Писателей РФ Мартышева Евгения Фёдоровича, Аратову Елену.

За спонсорскую помощь: члена Союза Писателей РФ Кайкова Альберта Сергеевича, сына Кожухова Кирилла.

ISBN 978-5-900-152-60-3

© И. Кожухов, текст, 2015. © А.
Повилайтис, иллюстрация, 2015. ©
Редакционно-издательский центр
«Новосибирск» НПО СП России, 2015.

Новые чудики.

XXI век

«Нравственность есть Правда». Эти слова, некогда сказанные В.М. Шукшиным, актуальны во все времена и при любом государственном устройстве. Они тем более злободневны во времена смут и лихолетий, когда следовать ей не только не выгодно, но и опасно. Но именно те, кто, не убоявшись осуждения, преследования а, возможно и гибели, гнёт свою линию, основанную на принципах социального равенства, становятся пламенными борцами за справедливость, народными героями, любимыми писателями, духовными ориентирами в непростых условиях современности. Правды ждёт народ, она — мерило ценности художественных произведений, она — свет и упование россиян после тяжкого морока либерализма 90-х. Страна медленно приходит в себя, ощущает выравнивание пульса, приток животворных сил, наливаются крепостью атрофированные мускулы. Она неуклонно поднимается с колен, на которые поставили её адепты неограниченных свобод и теории бесценности слезинки ребёнка. Она ещё слаба, пока способна лишь увещевать своих недругов, но время работает на неё, ибо панацеей своего исцеления избрала Правду, а Бог, как сказано в Писании, именно в ней.

Ощущение неожиданной и радостной встречи с Правдой, не залакированной, не приукрашенной слащавыми придумками, не покидает по прочтении рассказов новосибирца Игоря Кожухова. Сибиряк он, можно сказать, коренной, исконный, ибо родился в селе Береговое Новосибир

ской области да и сейчас проживает там, работая оператором небольшой котельной. Его юность и молодость прошли на стыке распада великой державы и перехода её в нечто аморфное, простирающееся от Балтики до Тихого океана. Отсутствие жизненной перспективы вследствие остановки и крушения производственных предприятий, невозможность реализации себя в приобретённой специальности монтажника радиоаппаратуры и приборов вынудили парня искать себя в других профессиях: строитель, сантехник, плотник, мастер по переработке рыбы на рыбном заводе, рыбак, кочегар, лесоруб. Отсутствие стабильного заработка и необходимость содержания семьи вынуждали хвататься за любую работу, обеспечивающую прокорм. Случались и длительные командировки, связанные с отсутствием нормальных бытовых условий, с обилием производственных неурядиц и нарушений. Однако командировочная жизнь при всех своих издержках и недостатках предоставляла возможность наедине с собой подумать и поразмышлять о несправедливости установившегося в стране жизнеустройства и его порочности. Особенно удручало положение сельских жителей, вследствие массового роспуска колхозов потерявших работу, да и землю, скупленную за бесценок предприимчивыми олигархами. Молодые подались в город на случайные заработки, пожилые и пенсионеры стали кормиться со своих личных подворий, экономя на предметах первой необходимости. Появились на селе и первые бизнесмены с неуёмной жадностью наживы, готовые сорвать куш в любом промысле, объявляющие частными владениями озёра, дороги, подходы к рекам, исконно считавшиеся общими.

Эти трагические перемены в укладе села не могли оставить равнодушным пытливого и энергичного парня. Захотелось рассказать о людях, стойчески переносящих невзгоды, навязанные им властью временщиков. Так появляется цикл рассказов, первый из которых — «Сын» о сельском парне Лёхе с несложившейся в непростое перестроечное время судьбой. Став в результате несчастного случая хромым и непривлекательным, он, как бы потерял жизненную перспективу. Сверстники, почуяв веянье вре

мени, покинули село, устроили, как могли, свои жизни, Лёха остался в родном доме, не интересный для девушек, хотя молод и полон сил. Всю свою энергию он вкладывает в укрепление и расширение подворья. И это ему удаётся. К тому же улыбается и удача — отец привозит из соседнего села девушку не очень красивую, но добрую и работающую. И сложилось, как в песне «Вот и встретились два одиночества». Вроде бы, брак по расчёту, но жизнь налаживается и обретает смысл. А вскоре и рождение сына, ставшего для Лёхи неоценимым подарком судьбы. Увы, счастье оказывается недолгим: трагический случай на рыбалке ставит под угрозу жизнь малолетнего сына, и Лёха, не задумываясь, отдаёт свою. И в этом случае разговор вовсе не о подвиге, совершённом деревенским парнем, а о великом смысле, заложенном в живые существа природой — сохранение потомства, а также о безграничной родительской любви, подвигающей на самопожертвование.

Однако неуёмная родительская любовь не всегда благо, и это убедительно демонстрирует рассказ «Мамка». Женщина, умная и волевая, не сумев в силу объективных причин создать семью, решается родить сына вне брака. Для себя. И он появляется — её любовь и надежда — и становится смыслом её существования. Мать тщательно оберегает его от малейших тягот и неурядиц, освобождает от службы в армии, лишает возможности завести семью, отлучает от друзей, заполняя всё окружающее его собою. В результате получает существо, абсолютно не приспособленное к жизни, но готовое к активному потреблению и, в основном, алкоголя. Женщиной был нарушен закон природы: важно не только оставить потомство, но и взрастить его жизнеспособным, научить: добывать пищу, строить жилище, защищаться от природных катаклизмов и недругов. Слишком поздно осознала женщина свою ошибку и тщету потуг, на которую ушла вся её жизнь.

Трогательны рассказы «Булёмина любовь» и «Вторая жизнь». В первом, молодые оболтусы привозят на день рождения не совсем нормальному сверстнику в подарок на ночь путану. Вроде бы и доброе, по их понятиям, дело и прикол, над которым можно потом вдоволь посмеяться и

потешиться. Но шутка переходит вначале в драму, а потом и в трагедию. Булёма (герой рассказа) всерьёз влюбляется в «Подарок», воспринимает продажную любовь как настоящую и на всю жизнь. Он искренне удивлён, что красавица Женя, так любившая его прошлой ночью, уехав в город, не звонит и не отвечает на его звонки. Он пытается найти её в городе, ведь они договорились о скорой женитьбе, а когда узнаёт, что возлюбленная скончалась от передозировки, покупает обручальные кольца, одно закапывает на её могиле, другое оставляет себе. Отныне они с любимой обручены и неразлучны.

Нечто похожее происходит и во «Второй жизни». К безнадежно спивающемуся в результате обрушившейся на него беды (смерть жены) отцу, любящий сын привозит женщину, попавшую в кабалу к мошенникам, вынуждавшим её оказывать интимные услуги. Привозит на время выдавая её за свою сослуживицу, присмотреть за отцом, чтобы он окончательно не погиб. Бывшая учительница, прошедшая ад надругательств и унижений, не имеющая ни жилья, ни семьи, попадает в дом шестидесятилетнего вдовца, запущенный, но вполне добротный и пригодный для жизни. И обустраивает его, как это умеют женщины: отмывает, привносит бытовые мелочи, создающие уют и настроение. К тому же окружает уходом и заботой и самого хозяина, возвращая ему человеческий вид и достоинство. И происходит чудо! Двое, попавших в беду, спасают друг друга. Трогательное внимание каждого перерастает в необходимость быть надеждой и опорой другому, а затем и... в любовь, дающую возможность прожить «вторую жизнь» покойно и счастливо.

С особой теплотой и нежностью относится Игорь Кожухов к сельским старикам, наивным и беззащитным, наиболее пострадавшим в молохе перестройки. Но именно они являются хранителями высокой нравственности, остаются последними скрепами векового сельского уклада.

Дед Иван Демьяныч («Дедова правда») убедительно доказывает внуку, что истинная сила, дающая мужчине право на самоуважение, не в совращении, подобно актёру

Джеку Николсону, двух тысяч женщин, а в умении справно делать крестьянскую работу — наколоть, скажем, машину дров.

Забавны в своём соперничестве два старика, любящие всю жизнь одну женщину, в рассказе «Дуэль». Поиз-ветшали их телесные оболочки, но молоды их души, как в давние времена, понуждают их на ревность и безрассудные поступки, в иступлённой жажде доказать, что именно один из них достоин любви этой великовозрастной красавицы бабки Дарьи — за неё каждый готов биться до последнего. И никакими силами не разорвать этого любовного треугольника, спянного за долгие годы любовью и безрассудством, в котором каждый каждому дорог и необходим.

А в рассказе «Все там будем» старик, поприбывав на похоронах любимой племянницы в городе, вдруг явственно ощутил формализм и бездушие нынешнего печального обряда. И сюда протянулась, не знающая жалости и сострадания, лапа рыночных реформ: есть деньги — погребут по высшему разряду, нет — закопают без излишеств, среди скопища однообразных холмиков: ни пройти к могилке, ни помянуть толком. И старик приходит к нему-дрёному, но очевидному выводу, что и смерть, и погребение, и последующая память потомков — неотъемлемые части человеческого бытия, следовательно, и относиться к этому необходимо, как к важнейшей составляющей жизни, досконально продумывая все последующие события. Дед заранее оформляет на сельском кладбище добротный участок на себя и супругу, обустроивает его, договаривается с другом о мерах, которые необходимо соблюсти при его погребении. Рассказ можно отнести к разряду философских и даже печальных, но И. Кожухову удаётся привнести в него столько юмора, что читать без улыбки о хождениях и хлопотах старика невозможно.

Иное с рассказом «Защитник», где строгий мент Дима Богданов в соответствии с законом арестовывает транспортное средство (мотороллер с прицепом) у престарелого ветерана войны, фактически окончательно разоряя его и без того скудное хозяйство, ибо заплатить за пре

бывание мотороллера на автостоянке старик не в состоянии, а без него не сможет заготовить на зиму сено для единственной козы. Знает всё про старика-сельчанина годящийся ему во внуки лейтенант Дима и поступает с ним по закону — не подкопаешься, но вспоминается другой мент Алёша из фильма «Ворошиловский стрелок», с риском для собственной карьеры ухитрившийся отвести беду от оскорблённого подонками и униженного властью ветерана.

Примечательны рассказы «Шаг» и «Поводырь», повествующие о том, как пьянящая перспектива наживы и сытой жизни нового времени, безжалостно крушит основы любви и дружбы, казавшиеся ещё недавно незыблемыми. В «Шаге» два друга — Колька и Юрка — затевают выгодный промысел, намереваясь вести его честно, по-братски. И ничто, вроде бы, не предвещает неуспеха этой затее. Партнёры дружат с детских лет и доверяют друг другу. Правда, признаки нравственного перерождения, как тяжёлого неизлечимого недуга, уже заметны в Юрке. «А что нам, работаем, берём, что плохо лежит, дом вот строю новый». — Хвастает при встрече с сотоварищем Юрка. Этот незатейливый воровской принцип, взятый на вооружение молодым бизнесменом, становится для него каноном, нормой жизни, сулящей успех и процветание. Без малейших угрызений совести он, воспользовавшись горем безутешной вдовы, по дешёвке да ещё и в кредит «оттяпывает» у неё магазин, да и с другом, находившимся в отлучке, поступает не лучшим образом, склонив к сожительству его любимую. Правда, и девушка оказалась не Пенелопой, но она, по крайней мере, осознаёт меру своего падения и готова к покаянию и искуплению греха, хотя поправить что-либо уже довольно проблематично. Юрке же до отрезвления ещё далеко. Отчаянная «пруха» несёт его, как автомобиль с отказавшими тормозами по горной дороге к пропасти, где разобьются все его мечты и упования. Момент истины настанет, когда его друг и партнёр по бизнесу, проваливается под лёд и возникает необходимость совершения решительного шага к спасению гибнущего товарища. Но этот шаг связан с риском для собственной жизни, а

это для расчётливого торгаша цена неприемлемая, и он совершает другой — в сторону предательства и обмана, в полной уверенности, что его очередная подлость не будет изболита. Однако оставленный на погибель друг делает свой шаг и побеждает в приуготованных ему обстоятельствах. Таким образом, каждый из героев рассказа в определённый момент совершает поступки, определяющие в дальнейшем его судьбу: возлюбленная Кольки, предав его, теряет право на любовь дорогого человека, Юрка, бросив в беде товарища, ставит жирный крест на дружбе с ним, на своём бизнесе, на уважении сельчан, на возможности жить в родном селе, а Колька, проявив завидную волю к жизни и хладнокровие в решающий момент, обретает то, к чему стремился: любовь и незапятнанную совесть. Очень жалеет о своём проступке Юрка, но ШАГ свершён, а обратных жизнь не предусматривает.

Нечто похожее происходит и в «Поводыре». И здесь сельский парень обманут городской красавицей, которая предпочла более зажиточного и перспективного сельчанина. Простодушный герой спасает обоим жизнь, и отец спасённого в благодарность оплачивает строительство дома спасителю Пашке. Казалось бы, всё складывается для него наилучшим образом. Он с удовольствием участвует в постройке дома, где намечает счастливо зажить со спасённой им Аней, неожиданно откликнувшейся на его большое чувство и посулившей ему свою любовь в дальнейшем. Увы, посулы оказались посулами и Пашка, убедившись в иллюзорности своей мечты, теряет интерес к роскошному подарку соседа. В одном из северных рассказов Дж. Лондона случай сводит на стоянке мужчину и сбежавшую от него жену с любовником. Все трое понимают, что находиться под одной крышей им невозможно, и кто-то из них должен покинуть ночёвку. И тогда бывший муж предлагает покинуть парочку за материальную компенсацию понесённого морального ущерба. На глазах бывшей супруги, как бы переводя её в разряд товара, он мелочно торгуется с её избранником, демонстративно взвешивая и перевешивая золотой песок, а получив его и покинув стоянку, выбрасывает его в полынью и плюёт в

неё — плата за предательство ему не нужна. Аналогично поступает и Пашка, сжигая подаренный ему дом, ставший своего рода отступным за предательство любимой.

Не чужда И. Кожухову и тема войны. Правда, освещена она довольно неожиданно. Живут на селе в родовом доме два брата: старший Пётр и младший Андрей. Пётр — инвалид Афганской войны, Андрей — участник Чеченской. Жена Андрея, убоявшись серости и однообразия сельской жизни, сбежала в город, оставив на попечение мужа четырёхлетнего сына, в котором оба брата души не чают. Войны позади, оба селянина не вспоминают о них, занимаются мирными делами, жизнь катит своим чередом, но однажды они напоминают о себе. На заготовке дров Андрей валит дерево, не замечая в погибельной близости от него сына. Пётр видит грозящую мальцу опасность, но находится слишком далеко, чтобы докричаться или остановить брата. И тогда оживает Война: срабатывает рефлекс, выработанный во время кровопролитных стычек с душманами, когда на принятие решения отводятся секунды, когда тело действует, как чёткий механизм, запрограммированный на выживание. Сухорукий инвалид мгновенно, снайперским выстрелом срезает брата, даруя жизнь его малолетнему сыну. Не было б войны, не прозвучал бы роковой выстрел, но не было бы в живых и любимца обоих — Ваньки.

Теме сохранения природы посвящён рассказ «Яма». Сына лесника Ваньку с травмой (лягнул в лицо прирученный лосёнок) привозит в город на лечение после удачной охоты «директор чего-то там» и размещает его на временное жительство в своей квартире. Покровитель, используя свои связи, устраивает ему без обязательных мытарств в больнице приём у врача и своевременную операцию, а дома — внимание и заботу семьи: жены — бывшей сельчанки и их сына — ровесника Ивана. На простодушного обитателя лесной заимки гостеприимные хозяева обрушивают все блага цивилизации: от блендера до видеоплеера. Сын директора хвастает завидными перспективами, открывающимися ему в городе и изумляется ограниченности притязаний гостя. Но Иван не приемлет

образа жизни, где во главу угла поставлено потребление и получение удовольствий. Он не может смириться с тем, что чистая вода из водопровода, будучи не использована, отправляется в канализацию, и доводы хозяйки о том, что вода эта оплачена, его не убеждают. Он видит, что обиталище людей — город, действительно, превращается в смрадную яму, жизнь в которой становится по-настоящему опасной для существования всего живого, и спасение природы ставит своей жизненной задачей.

«Пойдём жить» и «К нему» повествования по содержанию разные, но по сути об одном: о хрупкости человеческих отношений и бесценности человеческой жизни. Променил на лёгкую связь с молодой девкой своё семейное счастье Владимир из рассказа «Пойдём жить», не успел сказать сокровенных слов о своей любви к жене погибающий Иван из рассказа «К нему». Помнить о смерти и дорожить всем, что дарует тебе жизнь — основной мотив обеих поучительных историй.

Есть в книге и рассказ, пленяющий особенной теплотой и душевностью к выходцу из села — «Инвалид». Легкомысленный, но с родниково не замутнённой душой парень, желая собрать на свои проводы в армию «коре-фанов», попадает на мотоцикле в ДТП и становится фактически инвалидом. Но ущербности своей до поры до времени не замечает и извлечь каких-либо дивидендов из своего увечья не стремится: трудится наравне со здоровыми. Но со временем последствия травмы начинают сказываться, а средств на приобретение дорогих лекарств начинает не хватать, и Пашка (герой рассказа) по просьбе жены решается на оформление инвалидности. Преодолев все бюрократические препоны, он собирает необходимые справки и едет на комиссию, которая должна подтвердить его право на законные льготы. Но вот тут-то всё и начинается. Бесхитростный инвалид не умеет расположить к себе комиссию, не в состоянии артистично изобразить совершенную убогость, здраво отвечает на вопросы, да и запросы его невелики — только скидка на лекарства. Он уверен, что члены комиссии оценят его искренность, проникнутся сочувствием к его положению и как люди мило

сердные решат дело в его пользу. Увы, для членов комиссии он пациент не из той категории, чтобы с ним считаться или вникать в его проблемы. У них свои резоны и за отсеб малоимущего, явно не посмеющего никому пожаловаться на несправедливость соискателя льгот с них не спросится. Пашке не только не определяют инвалидности, но и обвиняют в симуляции. Инвалид ни с чем возвращается домой и гибнет на работе — давняя травма ставит точку в этой жизненной истории.

Завершая краткий обзор рассказов Игоря Кожухова можно с уверенностью сказать, что в сибирскую литературу входит интересный и перспективный писатель с огромным потенциалом, досконально знающий сельскую жизнь, чутко слышащий голос народа, чувствующий его живую душу. Шукшинские чудики не ушли, не загнули, задавленные преступными перестроечными реформами, но рядом с ними встали другие — кожуховские, не менее талантливые и привлекательные. И пока они, эти чудики есть — жива деревня, а откуда жива деревня — несокрушима Россия.

*Евгений Мартышев, Член Союза Писателей РФ, Действительный
член Петровской Академии Наук и Искусств*

Дедова правда

Вовка ехал к деду. Вовкин дед, семидесятипятилетний Иван Демьяныч, жил где-то на одном из островов великого озера Чаны. В начале прошлого века, как знал Вовка, дедовых родителей переселили из центральной России в эти места, где они и обжились. Именно здесь, вдалеке от цивилизации, жил Дунай Иван Демьяныч — дед любимого им внука.

У деда день рождения. Прожорливое время, как говорил старик, съело его дни быстро и безвозвратно. Он не поддался на уговоры детей уехать в город, считая его какой-то бедой, где люди мечутся, не зная места. А это место он знает, на этом месте его дом, здесь он живёт и работает. И вот теперь старик вдруг написал письмо, в котором просил сына приехать в гости на скромное торжество. Но сын, врач по профессии, приехать не мог, поэтому к деду едет внук Вовка.

Сам Вовка, двадцатилетний студент педагогического института, по деду всегда скучал. Поэтому раз, а то и два в год бывал у него. В детстве было просто интересно наблюдать за работой деда и его друзей-рыбаков, ловящих и потом сортирующих рыбу, или гонять по камышам на дедовой долблёнке диких уток с утятами, а по вечерам слушать дедов «трёп», как говорила жившая тогда ещё бабка. Трёп был интересный, «за рыбацкую трудную жисть», со всякими отступлениями о великих, пойманных дедом рыбах, о красивых русалках

с щучьими хвостами и женскими грудями, зовущими рыбаков в камыши. Сказок и прибауток дед знал великое множество, и Вовка не мог понять, как дед никогда не повторяется, часами рассказывая их. А бабка, посмеиваясь над его удивлением, говорила, что дед сочиняет их сам. Но Вовка деду скорее верил, потому что уж очень красиво и живо старик всё описывал. Как по правде.

А год назад умерла бабушка Галя или, как её звал дед, Галка-птичка.

Иван Демьяныч так запереживал после её смерти и похорон, что сам чуть Богу душу не отдал. Вовка почти всё лето провел со стариком, обросшим и потерянным, ходил за ним по пятам и теперь уже по-взрослому понял и зауважал этого жёсткого, но по-своему доброго и хорошего человека...

Поездке он обрадовался и по поводу дедова праздника решил подарить ему свой CD-проигрыватель, устаревший для него, но наверняка диковинный для деда, и несколько неплохих, на его взгляд, видеофильмов.

Поездка в эти места утомительна. «Неблагоденных» в годы репрессий засылали почти на верную погибель. Если ещё учесть, что ехали со всем скарбом, с малыми детьми, на голодных, почти пропащих лошадях и, что самое главное, неизвестно куда, и то, что многие выжили и обжились в этих местах — чудо.

На поезде Вовка добрался до областного города, затем на юрком «Пазике» до бывшего центрального совхоза, а уж затем на перекладных через полуразрушенную дамбу на огромный, гектаров в двести, остров, где стояла дедова деревушка.

Деревня находилась в самом конце идущего на заужение острова, поэтому была в две улицы. Между улицами находился магазин, небольшой старый клуб времен Хрущёва-Брежнева и семилетняя школа. С обеих сторон деревни расплзлись огороды, в основном под картофель, и сразу через камыши — великое озеро Чаны.

В конце деревни на самом заужении, на взгорочке, вставало вдруг кладбище, небольшое, огороженное прогнившим штакетником, с незакрывающимися, наклонившимися на обвисших столбах, воротами. И именно здесь, недалеко от этого совсем не радостного места стоял ещё добротный, построенный при «последних» коммунистах, дедов «форпост».

Вовка почти забежал в знакомый до мелочей дом. Дед сидел на корточках у печки, а изба была полна синего с пролесами дыма.

Увидев Вовку, Иван Демьяныч, как бы продолжая начатый разговор, стал объяснять:

— Тяги нет! Скоро холода, думаю, зольники прочишу, да испытаю, язвы её... А она вовнутрь топится, будто у неё трубы нет, — и, встав, с лукавой улыбкой обнял Вовку, — уважил, внук, ну уважил старика на старости лет...

Вовка, нисколько не стесняясь, тоже крепко обнял пахнущего дымом и зольной горечью деда...

Вечером, напарившись в баньке, маленькой из-за отсутствия на острове вволю дров, но горячей, Вовка и дед сидели за столом. Вовка рассказал все, какие знал, новости и вспомнил о CD-плеере.

— Дед, а давай я тебе кино хорошее включу! Красивое, про жизнь и любовь!

— Русское? — дед, чуть-чуть хмельной, прищурил левый, с хитринкой, глаз.

Нет. Но дублированный, как русский.

— А кто главный?

Дед имел в виду, кто в главной роли, и, поняв это, Вовка прочитал аннотацию.

— Джек Николсон, один из самых скандальных актёров Голливуда. Жёлтая пресса приписывает ему сексуальные отношения с двумя тысячами женщин. Много семейных пар распалось из-за любви к актёру... — Вовка не закончил.

— Каво ты сказал? — с дедова лица сошла иро

ничная улыбка, и он приподнялся на кулаках над столом, — сколько женщин? Я не ослышался по слабости слуха? Две тысячи?! — дед осел, — он что конь, этот твой Николс? И кто у него со свечкой стоял, считая?

Дед смял рукой скатёрку и в упор смотрел на Вовку. Вовка растерянно молчал.

— Был у нас в совхозе жеребец, медалист. Ему особых жеребух, молодых кобылок приводили. Дак тому что? Стой, жри комбикорм, пей подслащённую водичку да жди! Подведут, ткнут носом, да ещё и подержат. Делай дела! А здесь же женщины, не кобылы, как их может быть две тысячи?! С ними же пожить надо, узнать, полюбить. Ей же одной все огороды перетопчешь, цветы таская... Из-за неё, морду тебе раз пять-десять разобьют ухажёры её, и ты тоже им. И пока она поймёт, что ты не просто к ней, пока поймёт, да решится на шаг... Это сколько же ему лет? Двести что ли? Жеку твоему?

Вовка был обескуражен дедовым напором.

— Да ты не понял, у них все проще, там не надо шибко ухаживать, цветы там дарить... Просто пробежала искра — и всё, и это, в постель... — Вовка запутался, покраснел и замолчал.

— Ах не надо, говоришь? Значит, и впрямь, как у коней? А ты знаешь, что одной кобылке, Ивой звали её, не понравился наш жеребец. Так она ни в какую! А он в охоте, возьми, да прикуси её за холку. Так она изловчилась и так ему дала задними копытами, что отлетел наш производитель! И больше не подошёл к ней. А ты говоришь, ухаживать не надо! У меня в жизни было три бабы. С двумя так намучился, столько крови пролил и зубов потерял, что если бы не твоя бабка, Птичка моя, погиб бы молодым. А она полюбила меня, и я её. Полюбила и ждала из армии пять лет. И как в пятьдесят восьмом поженились, так и прожили вместе больше полувека. А ты говоришь, без любви... Просто так... Гад-ство! — и дед сухо плюнул в сторону.

Пять минут стояла звонкая тишина. Дед налил пол-рюмки своего самогона, выпил, заел захрустевшим во рту огурцом и снова заговорил.

— А где он здоровье на них берёт, скажи мне? На них ведь тоже здоровья надо немало. И спроси у него, сможет ли он, вон, машину дров за день изрубить, которую мне Гришаня, сосед, с большой земли привёз? Спроси! — и, убеждая Вовку, что не сможет, дед засмеялся.

— А я за световой день её сделаю, всю, до последней чурочки. И комельки подберу... И не лыбься! Завтра и начну! Посмотрим на силу ихнюю и нашу! А то сказать-то можно всякое, а ответить за слова... Вот что трудно.

Дед встал, чуть качнувшись, и, пожелав спокойной ночи, ушёл в горницу... Вовка ещё посидел чуток, улыбаясь дедовому возмущению, и тоже засобирился спать. Завтра к обеду нужно быть в райцентре, чтобы к понедельнику — в институте.

Утром его разбудил дед.

— Вовка, болею что-то шибко сегодня с похмела. То ли самогон не удался?

Вовка открыл глаза. Напротив, на кровати, сидел дед в старых китайских с завязками кальсонах, лохматый, с жалким лицом, обросшим за ночь седой щетиной. Так похмелись.

— Нет, отлежусь. Только ты это, давай спор перенесём на послезавтра, а?

Какой спор?

— Про дрова, — и дед вытер дрожащей рукой слезящиеся глаза.

— Ты что серьёзно, дед? Перестань. Через неделю приеду на выходных с другом и переколем.

— А, ну ладно, — и дед, облегчённо вздохнув, лёг лицом к стене и подогнул ноги.

Через час Вовка, попрощавшись с лежавшим дедом, уехал в город.

P.S.

В понедельник вечером в квартире Вовкиных родителей зазвонил телефон. Трубку взяла Вовкина мать и, поговорив минут пять, крикнула Вовке, чтобы он взял параллельный. Подняв трубку, Вовка услышал деда:

— Слышь, внук, доколот я дрова. Сам доколот. За день, как и спорили. Так что позвони своему Жеку и скажи, что конём многие быть могут. Надо ещё уметь быть мужиком, и, по-моему, этого-то он и не умеет... Так-то...

И дед положил трубку.

Булёмина любовь

Его звали Сашка. У его родителей он не был в планах. Это была нормальная семья: отец, мать, сын и дочь. Но когда случилась беда и их сын погиб, в отчаянии родители решили родить еще ребёнка. Ему было сорок пять, ей сорок... Ребёнок родился ненормальным: с большой арбузной головой, маленьким телом и тонюсенькими руками и ногами. Но родительская любовь сильнее всяких бед, и они прилежно его растили и, как могли, воспитывали. В школу мальчика не взяли, но на улице он всегда был с нами рядом, поражая своим умением дружить.

Шло время. Я и мои ровесники окончили школу, многие отучились в училищах или институтах, а те, кто не «косил», отслужили в армии. Санька тоже рос, но, находясь постоянно в деревне, рос незаметно, в стороне. И когда однажды я увидел здорового парня, то лишь по явно выдающему его лицу узнал Саньку. Оказалось, что ему скоро будет двадцать лет.

Получилось так, что вечером встретилось много нас, чьи детство и юность прошли рядом. За рюмкой вновь переживали весёлые и просто запомнившиеся моменты жизни, и кто-то вспомнил о Сашке.

— А Булёма-то вымахал, видали, какой конь! Пахать на нём можно. Батя у него умер, сестра в городе замужем, так он вдвоём с матерью живёт. И хоть мать уже старая, но хозяйство у них хорошее. Он, в этом плане,

упёртый: может работать, как трактор, сутками. Только вот девчонки у него нет никакой, и никогда не было. Стесняется он очень, да и красив-то не шибко, вот его и игнорирует слабый пол.

И на нашу дурасть мы решили подарить ему на его двадцатилетие проститутку.

— Да кто сюда поедет? — орал мой одноклассник Юрка. — Вызов сюда обойдётся в две тысячи. — Но мы очень хотели сделать Булёме подарок, и я взялся организовать это дело.

Всё вышло куда проще, чем казалось. Один мой знакомый работал в милиции, и, попросив его помочь, я уже на следующий день разговаривал с девушкой в коротком джинсовом платье с большой грудью и яркими глазами и ртом. Её звали Женя, и за ночь с доставкой туда и обратно она просила одну тысячу: «Лишь бы малой был не садист какой». Убедив её, что «малой» хорош и спокоен и объяснив ситуацию, я взял у неё адрес и договорился о времени встречи.

— А неужели он ещё мальчик? — не поверила она.

— Он — мальчик, и потому хочется, чтобы всё было хорошо.

— Всё будет тики-так, или я тоже девочка! — она засмеялась и помахала мне рукой.

В субботу утром я подъехал по указанному адресу, и когда ко мне подошла красивая девчонка с большим бантом в волосах, я даже не узнал в ней Женьку.

— Ну ты даёшь! — я просто был шокирован её красотой и юностью. Оказалось, что ей тоже немногим более двадцати лет, но этим делом она уже занимается около трёх.

— Отец нас с матерью выгнал, и понеслось... Сначала пытались работать по-честному, но потом поняли, что или голодать, или... Мать тоже этим занимается, только она больше по пожилым.

Когда подъезжали к деревне, она попросила остановить на пять минут. Открыла свою сумочку, достала шприц с желтоватой жидкостью и резиновый хлястик. А без этого нельзя?

— Нет, нельзя. Мне будет плохо и праздника не получится.

Она ловко намотнула хлястик, поработала рукой, скинула колпачок со шприца и быстро, аккуратно воткнув иглу в еле заметную вену, выдавила содержимое. Смотря сбоку, я видел, как между бровями разгладилась морщинка и на лбу мелким бисером выступил пот. Через минуту она открыла глаза и весело сказала: «Теперь вперёд!»

* * *

Санька мы уговорили справлять праздник у общего знакомого Валерона. Тот жил один, в нормальном, ещё бабкином доме, который достался ему по наследству. Баню он сам сладил, довольно большую, с предбанником и большой комнатой отдыха.

В общем, когда Булема парился, мы зашли и с криками и хохотом поздравили его с днём рождения.

— А подарком нашим, Санёк, будет тебе вот это чудо, которое мы специально выписали тебе из города. — Я подтолкнул из-за спин Женьку, в коротком халате, перевязанную бантом.

— Продукт скоропортящийся, всего на одну ночь!

С лица Сашки можно было писать портрет. Наверняка, это был бы реальный шедевр. В общем, мы ушли гулять. Всю ночь мы пили, плясали, ели и веселились. Я унёс им в баню пару шашлыков, бутылку вина и пару бутылок пива. Саньке нельзя было пить: пьяный он начинал говорить вообще нечленораздельно и запутанно. Слова вылетали из его рта непонятные, с выплёвыванием слюны, похожие на бульканье. Так же было, когда он сильно волновался. Наверное, зная это, он выпивал редко, и то только немного пива. Наша ночь

была весела. Про их ночь знают только ночь и широкий топчан в отдышаловке.

* * *

Утром их в бане не было. Не знаю, что он говорил, не знаю, о чём она думала, но они ушли к нему домой. А через день на автобусной остановке мы увидели всю его семью, включая сестру с мужем, мать, самого Санька и Женьку, которая, несомненно, была центром, точнее ядром, вокруг которого вдруг неожиданно зародилась новая жизнь. Сашкина мать громко смеялась и называла Женьку дочкой, сестра его говорила с ней, как со старой знакомой, а сам Булёма с красным от счастья лицом, с широкой улыбкой стоял с огромными баулами, набитыми подарками и боялся их опустить на землю.

— Ты, дочка, сразу такси вызывай, не жди троллейбус. А то надсадишься. А Саша к тебе через недельку, на выходные, приедет, — напутствовала Санькина мать.

Женька улыбалась и обнимала всех по очереди, включая державшего сумки Санька. Она была красива. Автобус пришёл, её посадили, и когда он поехал, Сашка бежал за автобусом метров двести, пока не задохнулся в пыли. Счастливый, он никого не замечал и не стеснялся.

* * *

Булёма нашёл меня через четыре дня.

— Игорь, понимаешь, она дала мне телефон, а я не могу дозвониться. Мне адрес нужно узнать, свататься ехать.

Он держал меня за рукав и беззвучно плакал. Потом заговорил-забулькал:

— Понимаешь, мы все договорились, сестра приедет, мамка, мы все поедem к ним домой. Я буду её муж, а она — моя жена. Я уговорю её родителей и сделаю её счастливой, самой-самой...

Он кривил рот в плаче, на его костюме тянулась слюна.

— Помоги, ты же можешь...

Меня всё это сильно задело и по-настоящему взволновало. С трудом оторвав от себя его руку, я твёрдо пообещал ему помочь.

— Передоз. Смерть в диком кайфе. — Мент Вован закурил и, нервно выпуская дым, договорил, — таких тысячи по стране. Она в понедельник с сутенёром в гаражах в машине ширнулась, и всё. Тот, как понял, что борщанули, скорую по сотовому вызвал, да и здоровее он. В общем, его откачали, её — нет. В среду похоронили, по скромному. Мать сдала, в больнице по-моему.

Пропощавшись, я поехал в деревню. Вот это дело! Как в кино. «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Мне предстоит как-то сказать Булёме обо всём. Но как? Представлялось с трудом.

Как всё было больно! Санёк, услышав, как-то сразу сник, припустил плечи и сильно клоня голову на бок, заикаясь и глотая слова, начал вдруг выговаривать мне булькающей скороговоркой:

— Игорь, этого не может быть, мы договорились. Мы всю ночь с ней не спали, она любит меня, а мама сказала, всё нам отдаст, мы с ней целовались. и я сильный, не правда всё это. всё. всё. не правда.

Он плакал навзрыд и, захлебываясь слезами, просил меня спасти его и её, заглядывая в глаза и вдруг начинал говорить, как им будет хорошо, потом сбивчиво обвинял её родителей: «Наверное, они...». Потом опять плакал и хватал меня мокрыми руками.

Это продолжалось минут сорок, наконец он устал и только всхлипывал громко, вздрагивая всем телом. Потом долго молчал, наверное, поняв, что мне врать ни к чему, и в его сознании рождались какие-то мысли, понятные и нужные только ему.

Мне было очень трудно на всё это смотреть, к тому же я всё это затеял, и когда он вдруг попросил свозить его на кладбище попрощаться, я согласился.

Позвонил Вовке, он узнал, где она похоронена. Попросил его съездить со мной, так как боялся за Санька: кто знает, что у него на уме.

Он пришёл ко мне чистым, в красивом сером костюме, побритый и подстриженный. Спокойно попросил в городе остановиться где-нибудь около ювелирного магазина. Всю дорогу молчал, не мигая смотря вперёд, и только шевеление губ и меняющаяся мимика показывали, что в нём идет какая-то жизнь.

Хотя он раньше стеснялся города, сейчас спокойно, не сказав ничего, ушёл в магазин. Я позвонил Вовке, и он обещал подождать меня у ворот кладбища и пройти с нами.

Булёма вернулся, спокойно сел и, загадочно улыбаясь, сказал, что готов. Поехали.

Я сам никогда специально не заходил на городское кладбище, поэтому меня сразу поразили его размах и будничность. Мы долго шли, куда-то сворачивая и сверяясь с номерами участков. Наконец Вовка показал на холмик с венком и простеньким деревянным крестом. Санёк, растерянно улыбаясь, пошёл вперёд. Сначала он, неуклюже наклонясь, стоял, рассматривая прилепленную на скотч фотографию, потом вдруг грузно опустился на колени и, закрыв лицо руками, негромко заплакал, что-то говоря и подвывая, покачивая в такт телом.

— Я балдею! — Вовка нервно курил: — Он её, правду её так любил?

— Нет, Вова, похоже, он её не любил — а любит. И наверное, это надолго, если не навсегда.

Вовка раздавил о лавочку сигарету, тихо сказал: «Я её тоже любил... Любил такой, какой она была, с

этими яркими губами, фальшивыми ногтями и нарисованными глазами. Я подолгу наблюдал из машины, как она продаётся разным мужикам, как она курит, выставляя ногу вперёд и слушал, как хамит и громко хохочет. А потом подъезжал, забирал её и бешено, именно бешено, любил в машине, зацеловывая и облизывая всю с ног до головы. А когда увозил её на место, так сказать, «работы», старался почаще проезжать и смотреть на неё». Он неуклюже поправил очки, видимо, смахивая слезинку, и мотнув головой, в сторону Булёмы, сказал, что надо собираться. Пока слушал Вовку, я немного потерял контроль, но Сашка сидел уже тихо, глядя или заравнивая что-то на холмике своими большими руками.

В машине, по дороге домой, он, неожиданно улыбнувшись, показал мне руку.

— Я на ней женился, Игорь. Женился, насовсем! — он с любовью потрогал обручальное кольцо.

P.S.

Прошло время. Я женился, родил сына, построил дом. Бывая в деревне и встречая Санька, постоянно слышу от него после трёх минут разговора: «Ну ладно, я пошёл, а то Женя обидится, что долго шатаюсь без дел. Она у меня хозяйка, не любит беспорядка».

Говоря это, он трогает рукой золотое кольцо, ставшее кольцом его жизни...

СЫН

Лёха с детства был весёлый, здоровый, смекалистый и прыткий пацан. Как все деревенские огольцы лазил по огородам, дрался, зализывая потом ссадины и раны, любил мамку, уважал батю и воровал у него табак. Малый был дерзким и сильным. Всё хорошо, но в шестнадцать лет, объезжая молодых рысаков, он очень неудачно упал. Врач, выписывая его из больницы, сказал, что Лёхе повезло: была хорошая смена и его хорошо собрали. А что нога немного не правильно срослась и лицо немного попортил, так на это в деревне никто и не взглянет. Однако взглянули.

Девчонки продолжали с ним общаться, однако близко не подпускали. Кому шибко нужен кривой да хромой хахаль? И Лёха теперь сторонился весёлых вечеринок и шумных посиделок. В армию его не взяли. Почти все друзья его ушли служить, и ему наказали беречь невест от «заезжих». Лёха очень тосковал. Всю свою энергию, смекалку и силу он теперь тратил на хозяйство.

За два года перестроил с отцом все сараи, обновил и подправил старый, ещё дедов, дом родителей и затеял строить свой. Но стройка требует денег, и он стал понемногу рыбачить. Рыбалка его увлекла, уже скоро он знал на своей речке все омутки, где отдыхали жирные сомята, тихие заводи с высоким камышом, полные круглого карася и быстрых щук. Иногда тихими лунными

ночами он даже забывался в своей лодчонке, любуясь отражёнными в воде звёздами. Но браконьерить продолжал, рыбу продавал и когда его годки еще гуляли свои «положенные» после армии, у него уже стоял ровный, ещё белый сруб.

Жизнь шла. Дом он построил, завёл кой-какой скот и в свои двадцать пять стал хозяином. Но рыбалку не бросал. Друзья его давно кто женился, кто уехал в город искать лучшего, а он был всё один. Отец, видя что Лёха скоро «съедет» от одиночества, без его ведома поехал к другу в соседнюю деревню и сосватал его дочь. Когда Лёха узнал, хотел наорать на отца, но хитрый батя сказал, мол, посмотришь, не понравится — уедут. Лёха согласился.

Лида оказалась не красивой, но хорошо сложенной, здоровой девушкой, с необычайно скромным характером. Они как-то быстро поладили и через месяц сыграли свадьбу. Лёха жену полюбил. А она, разглядев в этом парне настоящего взрослого мужчину, умеющего постоять за себя и за неё, работающего и ласкового, просто к нему приросла. Через девять месяцев у них родился сын. Лёха, держа в огрубевших руках этот комочек, пищащий и дёргающий руками и ножками, просто плакал от счастья и, захлёбываясь запахом родного тельца, целовал то его, то смеющуюся от счастья Лиду. Сына он назвал Лёхой.

Родители Лёхины незаметно постарели. А однажды, в субботу, попарившись в бане, наигравшись с внуком, отец и дед неожиданно присел и, шатаясь, сделал несколько шагов до лавки, неуклюже упал... Теперь Лёха стал хозяином на два дома, разгородив невысокий заборчик между ними. Он успевал. И рыбалку Лёха не бросал, но всё чаще стал подумывать о том, чтобы показать всё это сыну.

Лида боялась отпускать ребёнка с отцом, но когда ему исполнилось пять лет, согласилась, потеплее одев, взяв поесть и не надолго.

Обласок у Лёхи маленький. Как-то недосуг было сладить новый. Да одному ему и в этом «обкатанном» всегда удобно.

— Мы, мать, скоро, на пару часов. Обойдём с ним по моим местам — и домой. А за рыбой завтра утром сгребу.

Был вечер середины октября, когда днём тепло, как летом, а ночью холодно, как в ноябре днём. Мальцу было всё интересно: и холодная блестящая на солнце вода, которую он мог потрогать руками, и юркие птички, порхающие по камышам, и плавные круги, расходящиеся от рыбьих шлепков. И так было хорошо Лёхе с Лёхой, что увлёкся он и отошёл на самый край своих мест, за большой камыш, к густым плавунам, под которыми нет земли. Наступишь на него, а он плавно, но неумолимо уходит из-под ног. Маленький Лёха сидел аккуратно и серьёзно смотрел по сторонам.

— А хочешь, сынок, я покажу тебе рыбку, какая сейчас у нас в сетях отдыхает?

— Хочу, папа. — Пацан восторженно улыбался. Лёха подошел к крайней ставке и аккуратно приподнял сеть. Немного пройдя по поводку, достал крупного карася и подал сыну. Тот взял обеими руками дёргающую хвостом рыбу и во все глаза уставился на неё. А Лёха чуткой рукой уловил тугой удар по поводку.

— Ого, наверное, щука здоровая! — повод тяжело ходил в руке. — Вот здорово! Придём домой с удачным уловом! — хотя он не хотел проверять сети, азарт взял своё.

— Не шуми, сынок, тихо. Сейчас щучку возьмём и домой. Хорошо? — пацан молча кивнул. Лёха подтянул полотно и обалдел. Из воды на него смотрела здоровая, килограммов на десять-двенадцать щука. Она закрутилась пастью в ячейх и, тихо шевеля жабрами, смотрела на Лёху.

— Господи, а багор-то не взял, что же делать? — отпустить добычу он уже не мог.

— Сейчас, сейчас милая, я тебя аккуратно. Места у нас хватит. — Щука шевельнулась и потянула в сторону. Лодка потянулась за нею. И, понимая, что она может продавить дель, Лёха плавно, с нажимом, потянул её к себе и навалился на борт. Щука, подняв фонтан брызг, ударила хвостом.

— Уйдёт! — Лёха наклонился, схватил её за жабры и дёрнул на себя. Обласок наклонился, черпанул воду бортом, и Леха, опомнившись, чтобы не перевернуть его, нырнул за рыбой в воду. Холодная вода обожгла тело.

— Господи! — Лёха вынырнул. Обласок, наполовину начерпанный водой, тихонько отплывал. Пацан заплакал. Лёха уверенно, в два маха доплыл до него. Но, взявшись за борт, понял, что залезть в него не сможет.

— Ножки подними на лавочку, сынок. Не бойся, всё хорошо. Папка сейчас водичку отчерпает и залезет к тебе. — Но черпака не было. Лодка у Лехи никогда не бежала, и он не возил черпак, как ненужный инструмент.

Папа, залазь, залазь. Мама будет ругаться.

— Нет, сынок, не будет. — Лёха, рукой держась за борт, другой пытался черпать воду из лодки. Но это не приносило пользы. Руки костенели. Тело уже не горело, а ныло. «Минут десять, пятнадцать — подумал Леха, — и всё..., больше не продержусь. Полезу — сына утоплю».

— Сынок, давай покричим, — и Лёха заорал хрипло и протяжно: — Помогите-е-е! — сын заплакал ещё громче, и эхо крика поскакало в сторону от плавуна. Лёхе стало дико страшно. Его кровинушка сидел на лавочке, подогнув ноги, а он должен или пытаться влезть и, скорее всего, опрокинет лодку, или замерзнуть около неё.

— Слушай, сынок, — Леха стучал зубами, как кастаньятами — папа сейчас нырнёт. Понимаешь, нырнёт. Это игра. А вынырну потом, через несколько лет. Ты станешь большим и сильным. И мы с тобой потом. потом вместе. пойдём на рыбалку. А маме скажи, что папа

её любит. хорошую. господи. всё. — Леха уже не чувствовал пальцев. Умом он понимал, что надо отцепиться, но руки не разжимались.

— Маму. береги. с-ы-н. — слова получались каркающими и хриплыми. — И не бойся. Громче ори... в лодке не ходи. тебя. найдут. Господи.

Вода уже казалась тёплой, а тело костяным. Ноги, обутые в болотники, сильно тянули вниз. Тело разрывали судорога и резкие конвульсии. «Так вот что испытывает рыба, вытщенная из воды, а я думал просто скачет. скачет. ска.»

— О. р. и. прости. игра. прости. Лида. Теряя сознание, Лёха разжал пальцы и сразу пошёл на дно.

Пацана нашли через час. Он уже не орал, а сипел. Лодка была наполовину с водой, и в ней плавал спокойный и гордый карась. Лёху нашли через день. Он улыбался сыну последний раз в жизни. Даже мёртвый.

1999 - 2000 гг.

Мамка

Сына она родила в сорок пять лет, в далёком 80-м Олимпийском году, в маленьком деревенском фельдшерском пункте.

Родила специально для себя от деревенского молодого игривого пастуха, соблазнив того сладкой брагой и ненавязчивой простотой отношений. Соблазнила, устав от одиночества, не желая связывать себя узами ни с одним из деревенских мужиков, по её мнению, крикливыми, суетными и крепко пьющими. И хотя пробовала исправить очередного и этот очередной уже почти исправлялся, но только подпусти до тела — бац, всё! Назавтра — он опять тот же Вася или Федя. А она хотела не этого. Но смелости не хватало вырваться из надоевшей, но привычной до боли деревни. И она решила родить ребёнка и научить его жить так, как сама не смогла.

Красотой и телом Бог её не обделил, поэтому особых проблем в реализации своего плана у неё не возникло. И когда через неделю яростной любви она почувствовала, что всё получилось, пастуха бросила. Но тот вдруг пришёл под вечер под окно и пьяно потребовал продолжения любви. Протерпев ночь, на следующую она вышла и огрела пастуха по спине приготовленной днём крепкой тяжёлой палкой, на его счастье попав не по голове, а по шее и спине.

Посещения резко закончились, а пастух неделю не мог сесть на коня и пребывал дома, кривобоко выходя

из хаты только в туалет. Любовь прошла, не начавшись. Через девять месяцев, в солнечном апреле, пробежав босоногой по ледяным ещё лужам и испугав молодую фельдшерицу, на облезлой кушетке сама родила горластого большеголового пацана. А пока фельдшерица обтирала и пеленала его, опять сама, быстро помылась и, отобрав ребёнка, ушла домой.

Через два дня по её просьбе в райцентре старый участковый Скобарь, выписал свидетельство о рождении Жигуна Михаила Петровича. Так родился на свет человек, на которого мать уже возложила миссию добиться того, чего сама не смогла.

* * *

Мишку мать любила жертвенно и самозабвенно. В детстве, уведя его в детский сад, три-четыре раза за день прибегала проведывать и узнать у нянечек, всё ли в порядке. Убедившись, что всё хорошо, убегала на работу. Радость и азарт материнства омолодили женщину, и в свои пятьдесят она выглядела от силы на тридцать. И хотя многие мужики хотели бы связать с нею жизнь, она всем отказывала, любя и боготворя только его, долгожданного и неожиданного сына Мишу!

* * *

Шёл 1998 год. В кабинет начальника военкомата, полковника Воронина, вошла моложавая на вид женщина. Отказавшись от предложения сеть, быстро, но внятно заговорила:

— Сыну моему время в армию. Полковник улыбнулся и согласно кивнул:

Так!

— Не хочу, чтобы он уходил. Он у меня один, и я без него не смогу. Так что пускай живёт со мной. А я за это вам денег дам или картошки да овощей в вашу армию.

Полковник часто слушал такие разговоры, но сейчас, глядя на женщину, чувствовал совершенное и безоговорочное понимание правильности своей позиции. Он улыбнулся и, стараясь спокойнее, начал объяснять:

— Понимаете, это наш долг отправлять детей наших в армию. Ведь кому-то же надо учиться защищать, а потом и защищать родину. Вы же видите, что творится в стране, и если ещё сейчас в армию перестанут ходить, вообще начнётся не пойми что... — он не договорил.

Женщина сверкнула глазами и, подняв кулак к лицу военкома, громко отрезала:

— Если это ваш долг, своих и отправляйте. Моего не троньте. Пришлёте повестку, ноги Мишке переломая палкой... На руках буду носить, но в армию вашу не пущу. Понял? — вышла.

И уж так получилось, но парня не взяли в армию. Виноваты, скорее всего, перестройка и хаос, царивший вокруг. Почти всех Мишкиных годков забрали, его — нет. Мать убедила сына, что так надо, что он рождён для другого. Для чего — скоро узнает.

В деревне становилось жить всё труднее. Мать уволили, фермы закрыли. Совхозные огороды опустели, словно людям враз расхотелось работать и пользоваться плодами своих работ.

Но Мишка не знал отказа ни в чём, и молодой, красивый, ухоженный пользовался спросом у девчонок. И однажды сказал матери, что влюбился и хочет жениться. Мать выронила из рук тарелку, в которую наливала суп.

— Да ты что? Сдурел?! Зачем тебе жена сейчас, когда всё только начинается? А не дай Бог, пойдут дети, сопли, ползунки? И что от неё ждать? Ещё, поди, будет бегать по вечеринкам, а ты мучиться будешь. — Она крепко обняла его за голову и, глядя, уговаривала не

торопиться и не обижать её. Обещала, что скоро всё начнется, но что именно, Мишка понять не мог.

Мать была везде. Он шёл на вечеринку — она за ним. Невидимая, но неотвратимая всегда находилась где-то рядом, контролируя его. Над ним стали насмехаться и избегать общения.

Мишка мучился. Он любил мать. Она решала всё за него, она кормила и поила его. Постепенно он запил. Пьяный становился добрым и плаксивым, приходил всегда домой, где мать уговаривала и успокаивала его, глядя, как в детстве по голове. И алкоголь победил его душу, вытеснив даже мать.

* * *

Прошло десять лет. По деревенской дороге шёл, пьяно покачиваясь, мужик. Лицо его побито, одежда затаскана и давно не стирана. Мужик идёт упорно одной стороной, цепляясь, чтобы не упасть, за забор. Сзади, опираясь на крепкую палку, хромая бабка в тёмном платке и в чёрном сарафане. Это баба Тася и её сын Мишенька.

За это время он спился совсем. Сначала она не запрещала, а потом вдруг стало поздно. Не пить он уже не мог. Его одноклассники, отслужив, уехали в город, женились и живут, иногда приезжая в деревню. Видя их, она не понимала, почему же Миша не такой, хотя гораздо лучше. Он тоже видел всё и, проспавшись, иногда начинал обвинять её в своих бедах, а она, не зная себе оправдания, теперь сама поила его. Пьяный, он смеялся и плакал, хвалил её и любил жизнь...

Осенью мать вдруг сильно заболела, не могла подняться с кровати, и хозяйственные дела по дому свалились на Мишку. Для него всё было в диковинку и даже подтопить печь было серьёзной проблемой, не говоря уже об остальном. Он начинал злиться, ругать её последними словами, и только стакан самогона или спирта делали его опять добрым и совершенно беспомощным.

Мать лежала, смотрела на него и неожиданно поняла, что если умрёт, он сразу погибнет. Погибнет и будет брошен, как собака в яму, ведь никого у него кроме неё нет, как и у неё кроме него. Не бывать этому.

Назавтра она через силу поднялась и, увидев его просящие глаза, налила ему на опохмел. Взяла свою клюку, котомку с бутылкой самогона и вышла...

Сосед Вовка поморщился. Ползет опять Мишкина мать. Он ненавидел их обоих, но у Мишки было постоянно выпить, поэтому он общался с ним. Жил он тоже один. Жена два года назад убежала в город с дачником, а он не стал воевать: так проще. Теперь один, но хозяин. Мишкина мать зашла, молчком поставила пол-литра на стол и села напротив.

— Чё надо, бабка? — Вовка налил себе полстакана и, крякнув, выпил.

— Убей сына моего!

У Вовки стакан выпал из рук, он вскочил и, отпрыгнув от стола, заорал:

— Ты что спятила на старости, с ума сошла? За что же это я его убить должен? — он трясущимися руками прикурил сигарету.

— Пойми, умрёт он без меня, и никто его не похоронит, не помоешь по-человечески. А я его не для этого растила, чтобы так кончилось всё... — и она растеряно замолчала. Вдруг понятно стало, что берегла она его, сына своего, именно для этого, чтобы похоронить по-человечески.

Она встала и, опершись на клюку, повернула к Вовке посечённое морщинами лицо, посмотрела на него тяжело и неотрывно, отчего у того по спине пробежал ток.

— Забудь. Забудь, что сказала. Я пошутила, дружбу вашу испытывала. Вижу, что друг ты Мишке, а? Так? Говори!

— Та-а-ак, — стуча зубами прошептал Вовка, как приговорённый, глядя в бабкины глаза.

— К тому же уехал он утром в город, лечиться от пьянства. Надолго... — Она резко развернулась, взмахнув подолом, как птица, и вышла, хромая и стуча палкой.

Вовку, как магнит отпустил, он упал на стул и заплакал от страха.

Мишка уже спал в своей комнате на продавленном диване, прикрытом засаленным покрывалом. Около дивана стояла банка с окурками, окурки же валялись вокруг, вперемешку с поломанным хлебом и огрызками огурцов. В комнате стоял устойчивый смрадный запах. Она вздохнула и закрыла дверь.

Что-то случилось в ней. Жизненным чутьём она понимала, что боль, пересекающая тело сверху вниз, заставляющая терять на время ориентацию, и следующая за этим лёгкая немота тела — это неспроста. Понимала, что осталось совсем маленько, а там, наверное, что-то вечное или ничего!

Страх за себя не было, но вот сын. Сын, которому посвятила себя и, не задумываясь, отдала бы всё ещё и ещё раз. Она вдруг заплакала и, потянувшись за рушником, ударилась об угол шкафа. Не понимая, потянулась и опять ударилась. Поднеся руку к лицу, сквозь слезы видела руку только правым глазом.

— Господи, неужто всё? Надо торопиться. — Она, как могла, собралась и встала. — Торопиться!

Мишка проснулся непонятно когда. В хате горел свет, окна завешаны.

— Мать, сколько время?

Мать сидела напротив, смотрела на Мишку, повернув голову вправо.

— Спи, ещё ночь.

— Не могу, дай похмелиться.

— Возьми. Только лезь сам в подпол, там в солонине бутылка...

Мишка радостно поднялся, босой и вонючий, проскочил мимо матери и, открыв подпол, полез вниз. Подождав пока глаза привыкнут к темноте, стал чиркать спичкой. Вот и солонина. Держа одной рукой спичку, другой он залез по локоть в солёную воду.

Вдруг тяжёлая крышка подпола, собранная из берёзовых плах, захлопнулась. Спичка погасла.

— Мать, что за дела? — он обтёр руки об штаны, потом попытался на ощупь найти лестницу. Наконец ему это удалось. Но как только он стал подниматься вверх, держа руку над головой, застучал молоток, и гвозди со скрипом, один за одним стали стягивать крышку с полом.

Мишка враз вспотел.

— Мать, ты что? Брось ерундой заниматься! Но крик его заглушали удары молотка.

* * *

Сколько прошло времени, он не знал. Слышал, как проскрипели половицы и простучал её батожок в комнату. Наступила тишина. Она давила на мозг, заставляла прислушиваться, пугала мышинным шорохом.

Хотелось пить и курить. Он вспомнил о бутылке и обеими руками залез в бочку. Бутылка была. Непередаваемая радость волной ударила в голову и на секунды успокоила. Быстро открыв пробку, залпом выпил несколько больших глотков. Алкоголь обжёг горло и почти сразу успокоил душу.

— Да нет, пугает. Хочет, чтобы кодировался.

Он зажжёг последнюю спичку и, поднявшись по лестнице к крышке, попробовал, согнув голову, плечом открыть её. Нет. Мать прибила её намертво.

Его затряс озноб.

— Мать, открой! Открой, прошу, я бросил пить. Мать!
— он заорал громко, даже сам испугался, и закашлялся от надрыва.

Его никто не услышит. Погреб глубок, под домом хоть заорись. Он сполз с лестницы и стал обходить его втёмную, трогая стены руками. В одном месте увидел полоску света и понял, что это кошачья дырка. Туда даже рукой не дотянуться. Он остановился, опять громко заорал в сторону сочащегося лучика:

— Мать, ма-а-ть. Мама, мама, мама!

От крика зашумело в ушах, но наверху — полная тишина.

Он пополз обратно к бочке с солониной, нашёл оставленную бутылку и снова сделал несколько глотков. Сел около бочки на землю, облокотился на стенку и, успокоенный алкоголем, задремал.

* * *

Очнулся он от боли в спине и холода. Застывшие мышцы плохо слушались, вдобавок бил холодный озноб, и не передать, как хотелось пить. Он совершенно ничего не видел вокруг себя и, вытянув руки, стал искать бочку солонины. Крышка и камень валялись на полу. Он их не положил на место. Засунув руки в бочку, попробовал пригоршней поднести рассол ко рту, но пока подвёл ладони к лицу, жидкость вытекла между пальцами. Вспомнил про бутылку из-под самогона, нащупал её на земле и опустил в бочку. Бутылка наполнилась рассолом, и он жадно отпил. Но минутное облегчение принесло ещё более страшную жажду. Ситуация его окончательно доконала. Он замёрз до того, что было больно шевелиться, а с другой стороны, страшная жажда сковывала горло.

Вдалеке он вдруг заметил небольшое свечение, и чем больше он смотрел, тем ярче оно светилось. Он вспомнил — кошачий лаз. И, преодолевая боль во всём теле, полез на свет. Сначала пространство между носом и землёй было сантиметров пятьдесят, и он довольно спокойно боком полез на свет. Но дальше, ближе к дыре, оно резко сократилось и, когда до дыры осталось чуть больше метра, Мишка застрял.

Он лежал на боку, ободранный торчащими из пола гвоздями, понимая, что обратно не вылезет. А свобода — вот она, светится и манит!!! Вдруг в лаз заскочила кошка, испугав его неожиданностью. Спокойно подошла и, чуть урча, понюхала его.

— Мурка, привет, — он ошалело верил, что кошка поможет, — привет, падла! Вылезь, скажи ей, что я сдыхаю, а? Я тебе молока дам банку, — и, захлебнувшись пылью, закашлялся.

Мурка спокойно перед лицом выкопала ямку, и, поджавшись, сходила по-большому. Передёрнувшись и закопав передними лапами туалет, она повернула морду к нему, и вдруг отчётливо сказала: «Ми-и-и-ша». Затем, вильнув хвостом, выскочила из дыры.

Мишка похолодел, и, опять задавленно закашляв, заплакал. Всё, что он смог ещё сделать — протянул левую руку к отверстию и прохрипел: «Мамммма».

Пролежав беспомощно сутки, Тася поняла что умирает. Боль, тянувшая её последний день, боль, не дававшая ей шевелиться и дышать, вдруг отступила.

— Ау, вот и слава Богу, — тихо, елебно сказал кто-то. «Приготовься к вечному, смиришь и отпустятся тебе все грехи твои», — запело ей в уши лёгким тенором. Она хотела перекреститься, но рука не поднялась.

— Сын! — стукнуло ей в голову. — Проститься надо, может, смогу.

Последним усилием она, перевернувшись, упала на пол, ощутив гул в пустом теле, и, опершись на локти, подползла к дырке. Но пока пыталась что-то сказать, вдруг услышала оттуда тихое: «Ма-ма-ма».

Она подставила лицо в дырку и, вдыхая затхлый воздух подполья, заговорила в темноту:

— Прости меня, сыночка, думала, осилюсь, похороню тебя достойно, по-христиански, а потом уж сама. Мне-то хорошего не надо, лишь бы не бросили, зако

пали. Но вижу, не успела, надо было раньше. А деньги на нашу смерть под бочкой зарыты, сынок, — и она засунула остывающую руку в дыру, надеясь нащупать его голову.

Бесчувственные ноги вдруг потянуло, мозг уловил тишину без хода сердца, и через мгновение сознание уснуло, уронив Тасино лицо в пол.

P.S.

Вовка через страх сообщил участковому, что пропала тётя Тася и сын её, Мишка. Собрав народ, участковый взломал двери и увидел труп тёти Таси с засунутой в кошачью дыру рукой. Когда её перевернули и освободили руку из дыры, обнаружили на ней переломанные и содранные до костей пальцы.

Мишку вытащили живого, лохматого и безумного. Он без конца повторял одно и то же:

— Вот теперь я богат, вот теперь я богат... Спасибо, мама!

15.08.2011 г.

Шаг

«Доверить что-то кому-то — это не обязательно потерять, а довериться кому-то — не обязательно погибнуть».

(Народные афоризмы)

Колька стоял и смотрел в окно.

Вдалеке за мелькающим лесом непонятно в какой стороне всходило солнце.

— Интересно, а если я еду с другой стороны земли, солнце все равно всходит на востоке? — почему-то эта мысль не давала покоя, и он пытался себе представить, где надо находиться, чтобы так не произошло. Но время было к выходу, и он с облегчением отбросил эту задачу.

Красивая проводница, свежая и яркая, несмотря на раннее время, заученно улыбнувшись, пожелала удачи.

— Да, да... спасибо. И вам того же, — он взял тяжёлую с подарками сумку, ещё раз оглянувшись именно на неё, вышел.

— Вот же, блин, красивая какая, даже завидки берут. Как же муж отпускает её в поездки? — он вспомнил тонкое золотое кольцо на пальце. — Наверное, любит и доверяет.

Поезд, лязгнув железом, с неохотой, но разгоняясь по привычке, потянулся дальше. На перроне остались несколько человек, так же, как и Колька рассуждающих, куда податься. Недалеко от перрона у кучки машин громко заговорили.

— Это сорок километров, и такая цена?! — здоровый мужик возмущённо разводил руками.

— Не сорок, а сорок два, во-первых. Во-вторых, я же не заставляю. Дорого — езжай на автобусе.

— Так, первый в восемь, а время пять. Ждать сколько?— здоровый снова развёл руками.

— А я при чём? — и хитрый таксист, откинувшись, закрывал глаза.

Колька подошёл к шумящему. Оказалось, это дачник, на свою беду купивший дом «в этом забытом Богом уголке», но машина в ремонте, а добраться до заветного огорода надо. Короче, вдвоём они уговорили таксиста и вкладчину поехали в деревню.

Колька ехал с заработков. Год с небольшим назад он — двадцатипятилетний парень — уехал отсюда на север за «длинным рублём», как сказала мать. В деревне работы не было и, решив, что пришла пора жениться, нужно было что-то делать. Ольга, лучшая в мире девушка, его первая и единственная женщина была не против.

— Съезди, я дождусь. Глядишь, свадьбу красивую справим, домик прикупим и жить станем правильно.

И, хотя пожилые уже родители и старшая сестра возражали, Колька решился. Он уехал и попал на хорошую работу, стал нормально зарабатывать, но.

Два месяца назад сестра написала ему, что его любимая вышла замуж и конечно же, как в плохих книжках, за его друга, с которым он рос и за которого всегда стоял горой.

— Отец у него ларёк открыл, точнее магазин, деньги появились. Юрка машинку прикупил. Старенькую. Отец ему дом начал строить. Смотрю, Ольга стала с ним кататься часто, но, думала, ладно, может помогает что. А тут по деревне заговорили, что всё, женятся, я вот и пишу.

Тогда, дочитав письмо, Колька подал заявление и, доработав вахту, через два месяца получив полный расчёт, поехал домой.

Он хотел сразу к Юрке, в глаза посмотреть, но было ещё слишком рано. Когда подошёл к отцовскому дому, то, словно ожидала его, вышла навстречу мать. Обняла, и секунду подержав голову на груди, подтолкнула к дому: «Заходи, сейчас будем завтракать».

За время его отсутствия, в доме ничего не изменилось, словно ушёл он отсюда вчера.

Отец, в шестьдесят седой, как лунь, так же поджар и сух. Он встал и, крепко обняв молчавшего Кольку, сказал:

— С Юркой не бузи. Не такой уж он герой, чтобы так сделать. Это она захотела. Но её тоже не гноби, пускай.

— Да я и сам решил, что хватит на чужбине, да и по вам соскучился, сил нет...

Вышла сестра, старше Кольки на восемь лет, дородная и красивая в мать, но почему-то одинокая, родившая пять лет назад сына, неизвестно от кого, как ругался отец.

Но Ваньку, внука и племянника, любили все и из-за этого, как опять же говорил отец, простили ей грех.

— Такого пацана, только по любви зачать можно! А в любви рождённый и Богу, и нам нужен! — и обнимал всегда внука.

В общем, встали все и Колька стал раздавать подарки. Последней, подал сестре — бархатную коробочку с двумя кольцами.

— Это спрячь, пожалуйста, до лучших времён. Может, когда и пригодиться мне, или, дай Бог, тебе, раньше.

После завтрака всей семьёй ходили по огороду, посмотрели хозяйство. Всё, как обычно, хорошо и у женщин на огороде, и у мужчин в сараях. Ванька, торопясь, рассказал, как старый козёл забил насмерть рогами щенка, зашедшего на его территорию.

— Он его ударил неловко, — по-дедовски сжав кулак левой руки, рассказывал Ванька, — тот сознание потерял, козёл его и затоптал, не отступил. Жалко было, мы его с дедом в тополях похоронили.

Сам виновник происшествия, бородатый старый, облезлый козёл, глядел из загона чёрными глазами и ни о чём не переживал.

— Жалко ить и его, — пояснил отец, — он хоть и старый, как столетний пень, однако привяжу его посреди поля на верёвку, и все козы вокруг него пасутся, не убегают. А он стоит, как, буквально, памятник козлу, — отец засмеялся, — и, охраняя всех, сам не ест целый день.

Потом сорвали уже чуть переспелые сладкие помидоры, постучали по недозрелым арбузам и, все вместе решив к вечеру растопить баню, пошли домой.

— Я пойду к Юрке схожу, — решительно начал Колька и, подняв руку, закончил, — всё нормально, я спокоен.

* * *

Колька увидел и узнал Юрку издалека. В детстве пухлый и здоровый, в юности он заметно прибавил в росте, а сейчас, за этот год, как-то заметно заматерел. Немного засмущавшись и из-за этого бравируя, Юрка заговорил первый:

— Здравствуй, друг, рад тебя видеть живым и здоровым! — и подал широкую ладонь.

— Ой ли?! — Колька, тоже смущаясь, улыбался, — смотрю, совсем мужиком стал.

— А что нам, работаем, берём, что плохо лежит, дом вот строю новый. К пополнению хочу успеть. — Под сердцем у Кольки защемило, но он не подал виду. — Пойдём в дом, посидим, поговорим, — закончил Юрка.

Дом делался на совесть. Видно было, что дела у Юрки и его отца шли довольно хорошо. Идя впереди, хозяин громко всё рассказывал, махая по сторонам рукой. Навстречу, из-за тёсаной новой двери, вышла Ольга и, тоже засмущавшись, поздоровалась, пряча руки за спину.

— Ну-ну, не красней, всё нормально, это же жизнь, — громко говорил Юрка, обнимая жену.

Потом они сидели в большой кухне за столом и Юрка, держа в руках рюмку с нетронутой водкой, рассказывал:

— Ты уехал, а тут нам с отцом покатило. Хозяина магазина, Гришку Овсева, березой задавило, прости Господи, — он перекрестился, жена его нам с горя, по дешёвке, да ещё и в кредит их магазин продала. Мы быстро поднялись, теперь всё делаем. И дровами занимаемся, и сено косим да продаём, и скот мало-помалу. Полдеревни на нас с батей работает. Ещё хочу вот рыбой начать заниматься, но это потом обговорим.

Он наконец, решившись, резко закинув голову, выпил, громко хыкнув.

— А Ольга тебя ждала, грустила. Но ведь парни кругом, думаю, вдруг чё, а я ведь её всегда это, любил... — Он ещё налил себе и Кольке.

— А тебя нет и нет. Попровожал её домой месяц, потом решил и так и сказал ей, мол, давай жить вместе. Она, конечно, не сразу, через неделю согласилась, и вот уже четыре месяца живём мужем и женой. Но свадьба будет через месяц, в сентябре. Дом доделать надо, — и он опять выпил.

Колька сидел молча. Юрка, жуя малосольный огурец, вдруг что-то заметил в огороде и, матюгнувшись, выскочил на улицу. Сразу же зашла Ольга.

— Прости меня, Коля, Богом клянусь, прости. Не люблю я его, но устала тогда одна, а он здоровый, красивый. На машине. Думала, стерпится, забеременела. А вот никак не могу, не могу и всё, — и посмотрев в окно, заговорила быстрее. — Ты скажи, куда прийти, приду. По-воровски тебя буду любить, но по-настоящему. Скажи, — она взяла его за руку и села рядом на стул. Колька со стоном вырвал руку:

— По-воровски не бывает настоящим, неужели не понимаешь этого? Не бывает, и нельзя! — и он выскочил из дома. Юрка, увидев, бросился отговаривать его уходить, но Колька был неумолим:

— Ладно, потом приду, про работу поговорим. А сейчас домой я, к своим.

— Ну, ты не злишься на меня, Коля? Я это хочу знать... Я же её после тебя взял, как бы не постеснялся...

Коля вспыхнул и проорал:

— Да ты дурак, Юра! Ты же мне твердишь что любишь её, так люби, люби, не торгуясь, — и выйдя из ограды, не оборачиваясь, пошёл. А в кухне за чистым столом плакала Ольга, смахивая пальчиком капли слёз с красивой скатерти.

* * *

Деревня жила! Точнее сказать, вопреки всему жила. Всё, что не нужно стало совхозу, раскупили приезжие из города и даже ближнего зарубежья. Дома уже не пустовали, как в начале 2000-х, а обзавелись новыми хозяевами, железными заборами и крепкими воротами. Что творится за этими заборами, не видит никто. Кто хозяева, и как они живут, тоже мало кого интересует. Люди могут теперь жить в одном месте годами и не знать друг друга! И это в деревне, где раньше жили одной семьёй. Местные свыклись и научились ничем не интересоваться: живут и ладно. Имеют право! Демократия!

По деревне несколько ларьков, в основном торгуют пивом и водкой, ещё магазин Безгиных, отца и сына, с красивой вывеской «Всё что надо»!

Колька обошёл знакомые с детства места и решил зайти к хорошему товарищу Вовке Филину, жившему здесь с матерью и младшей сестрой. Старый пёс узнал Кольку и для порядка гавкнув, завилял хвостом. В стороне от будки на зелёном ещё, но уже начавшем сохнуть конотопе, лежал пластом Вовка, вытянувшись, подложив обе руки под спину и откинув вверх голову, немного храпя из-за этого. Вокруг него ходили здоровые, но ещё цыплята, бройлеры.

Один подошел вдруг к Вовке и, склонив набок голову, несколько секунд смотрел, а потом неожиданно

клюнул того в нос, пытаясь вырвать волосинки, торчащие оттуда и болтающиеся от дыхания, как живые червячки. Клюнул, наверное, сильно, до крови ободрав пьяный нос, потом, не боясь, стал пытаться ещё. Человек прекратил храп и, с усилием приподняв голову, открыл глаза. Птица и человек посмотрели друг на друга, и последний, явно располагая большим интеллектом, осипшим голосом прошипел: — Ну, ты это зря, слышишь? Зря сделал, петух... — И, обессиленный, снова уронил голову.

Позади раздался горький смех. Это была сестра пьяного, ровесница Кольки, Анюта.

— Напьётся и валяется где упадёт, а с похмелья хвалится, что спит по системе йогов даже на камнях, и почки не простудит. И сделать ничего не можем, совсем пропадает... Ещё работы нет вообще, в долг пьёт, потом отрабатывает и снова пьёт.

А как отрабатывает?

— Как попросят. Кому дрова нарубит, кому забор починит, крышу на сарае. Серьёзного ничего не доверяют, а яму выкопать, пожалуйста, за бутылку.

Потом Анюта поила Кольку чаем и рассказывала о жизни в деревне. В конце, наклонясь и глядя ему в глаза, вдруг сказала.

— И парней почти нет: кто пьёт, а кто не пьёт, разобраны, а мне скоро двадцать шесть.

Она отвернулась и, встав, попрощалась.

— Мне ещё ранетки собирать, компот хочу сварить.

Колька поднялся и вышел, пообещав по случаю зайти.

Надо работать! Бездействие порождает лень, выход лени — пьянство!

Колька понимал это, поэтому и пошёл к Юрке, помня недавний разговор. Если работы не будет, придётся ехать в город, но почему-то именно этого ему не хоте

лось. Уезжая отсюда на какое-то время, он остро ощущал нехватку именно всего этого: остатков неустроенности, просёлочных дорог, уходящих в туманный осенний лес, утренней побудки петухов, и, обязательно, дыма из труб, осеннего, слабого, рвано виснувшего на крышах — всего, что у городского вызывает пугливую дрожь, а у Кольки — непередаваемое какое-то детское восхищение, радостное и постоянно непонятное!

Наверное, из-за отсутствия даже небольшой радости в нём для себя, город Колька не любил.

Юрка опять был рад или так здорово прикидывался. Он понял, зачем пришёл Колька и сразу начал:

— Понимаешь, Колёк, я прокумекал почти все варианты, как зарабатывать здесь деньги. Лучший, смею заверить, жратва и водка! Но пьющих, по сравнению с девяностыми, сократилось в разы, и остались они почти нищие: довольствуются спиртом и султыгой. Отмечаем! Жратва — доходное, но достаточно кропотливое дело. Мой батя с этим справится один на все окрестные села. У него и техника, и помощники. Отмечаем! А мы с тобой давай залезем в воду. Подомнём под себя местных рыбаков, начнём у них рыбу скупать, собьём цену — и всё наше! Потом коптильню сделаем, морозилки хорошие поставим — и оп-ля! — он радостно щёлкнул пальцами и засмеялся. — Думай!

Колька несколько минут помолчал, сжав кулаки.

— Я согласен. Только торговать — ты. Не могу я по головам ходить, не умею коммерцию мутить. И ещё, шибко не наглей, мужикам тоже жить надо. А я возьму лодку, куплю мотор и сети, сам буду рыбачить, мне это знакомо с детства. Что ещё сделать — буду помогать. Банк — пополам. И который в минус, и который в плюс. Если согласен, давай начинать, прям завтра.

Юрка заулыбался и живо воскликнул:

— Ну и договорились. Только ты, Коля, обещай к моей жене не лезть, люблю я её. Пятого сентября свадьба у нас, а на Новый год ей рожать. Хорошо?

У него вдруг немного сорвался голос, но он выправился и встал во весь рост. Колька тоже поднялся и, глядя ему прямо в глаза, ответил:

— Это твоя жена, что бы я ни чувствовал к ней. Всё.

Юрка опять, улыбаясь, протянул руку. Колька пожал и быстро пошёл со двора.

* * *

Они начали вовремя. Из большой когорты настоящих рыбаков остались единицы. Перестройка и сюда внесла разрушительную лепту. Раньше был организован лов рыбы частными рыбаками по лицензиям, и соответственно организованный сбор этой рыбы в лабазы. Но лабазы вначале отошли в частные руки, потом были разворованы, а затем и вообще сожжены. Рыбаки пытались держаться, выискивая частных скупщиков и пробуя работать. Но скупщики были сезонные: лишь осенью и зимой, поэтому постепенно многие отошли от дел, и лишь самые серьёзные, или, наоборот, те, кто ничего больше не умел, ещё пробовали заниматься этим прибыльным, но трудным делом.

Колька договорился почти со всеми и организовал более менее постоянное дело, правда, пока по-браконьерски. Но что поделаешь, в перспективе собирался добиться лицензии и организовать всё законно. Осенняя рыба вкусна и ловится хорошо. До первого льда уже было видно, что дело пошло. Юрка закончил монтировать коптилку, купленную за большие деньги.

В кредиты не лезли, поэтому работали на износ. Отремонтировав с мужиками старую стоянку на острове, Колька дневал и ночевал на воде. Раньше это была база отдыха каких-то генералов, но потом оказалась заброшена и разграблена. За месяц её привели в порядок, утеплив дом и перекрыв его новой крышей, сладив хорошую баню и накатав из брёвен ледник. Мужики, почувствовав вкус настоящего дела, радова

лись удаче и рыбачили хорошо. Юрка же на берегу наладил сбыт и больше всех понимал перспективу начатого дела. В общем, пока всё шло хорошо.

* * *

Ожидаемая зима пришла неожиданно!

Относительное тепло с начала ноября дни, в ночь на восьмое сменилось тридцатиградусными морозами.

Целую неделю при полном безветрии погода ковала природу. И люди спрятались, обескураженные этим напором. В ночь доходило до -40° с небольшим, днём — не поднималось выше -30° . Но Колькиной бригаде это было на руку. Ведь лёд встал ровный и серьёзный, и как только спадёт мороз, можно выставлять сети...

Только вдруг, пятнадцатого ноября, Колькин отец с утра сообщил, что к вечеру будет буран:

— Давление упало совсем, сын! В уши мне словно пробки забило, ничего не слышу, как в самолёте. Не вздумай на лёд — заметёт!

Колька поверил отцу, и они отложили выход на лёд. И когда уже к сумеркам ничего не произошло, он начал думать, что отец ошибся. Вечером легли спать с намерением завтра выставлять сети. Только ночью задуло!

Колька проснулся от скрипа дома и тяжелого хлопанья неприпёртых ворот. Быстро одевшись, выскочил на улицу и был почти сбит с ног бешеным тёплым ветром. Ворота, распахнутые настежь, закрыть не было никакой возможности, и Колька, еле держась на ногах, привязал их к стопорам. Ветер рвал с него одежду и тащил на валенках по земле, как по льду. Вдоль улицы по дороге катились пустые вёдра, гремя испуганно и жалко, летели тряпки и пустые мешки, куски целлофана и всякая пыль.

Ветер был неожиданно тёплым и это как-то пугало после сильного, ещё днем, холода. Колька еле открыл в сенцы дверь, проскочив в которые, получил сильный удар по спине.

Отец встретил его с фонариком.

— Свет погас, — сказал он, — это какой-то ужас. Окна скрипят, как бы не выдавило!

Где-то по ветру в деревне затрещали сараи, с которых сорвало крыши. Куриц и гусей из-под проломленных потолков уносило за деревню в лес. Во многих дворах раздавались испуганные крики, вперемешку с рёвом скота. Заборы, собранные из лёгкой жести, загнуло, как машиной, на трубных прожилинах, деревянные же в большинстве своем положило, словно картонные.

Люди, поняв бесполезность борьбы со стихией, спрятались по домам. На счастье печи протопились с вечера, и упавшие кое-где трубы были без огня, также обошлось без электрозамыканий, поэтому не было пожаров. Колька смотрел на серую улицу через маленькое окно в сенцах и вдруг услышал надвигающийся, заполняющий всё собой шум. Ничего не понимая, он с замиранием сердца приткнулся к стеклу и увидел огромную чёрную тень, глотающую сразу всё: и лес справа, и небо с луной и звёздами вверху, и деревню. Это был снег! Мокрый и сильный, разогнанный диким ветром, вырвавшим его из далёких снежных туч. Он ударил по стеклу с шумом, сразу толстым слоем залепив его и ослепив. Всё! Кроме гула и воя ничего не было слышно, и только воображение рисовало происходящее на улице.

— Всяко было за жизнь, такое впервой, а я повидал. — охрипло сказал отец растерянным голосом и широко перекрестил грудь.

* * *

Остатки ночи дуло и гудело. Утром и днём, о котором знали по часам, тоже гудело, только уже глухо, как через толстую стену. Время тянулось медленно и настороженно, заставляя всех в доме говорить вполголоса, а то и вообще шёпотом. День, по часам, утомительно перешёл в ночь, опять же по часам. Свечки кончились, и

Колька сделал свечу из жира и бинта. Светильник этот шипел и трещал, но около него собрались все и поужи -нали холодными остатками вчерашнего обеда. В доме становилось прохладно, домочадцы надели своё исподнее и, хором успокаивая Ваньку, уснули в горнице, кто где. Через сутки, утром по часам, Кольку разбудил отец:

— Пойдём, сын, откапываться, пока морозом снег не заковало, а то позамёрзнем здесь, как мыши.

Из сенцев Колька залез под крышу, и, подсвечивая уже подсевшим фонариком, пробрался к невысокому фронтому сзади дома. В этом фронтоне предусмотрительный отец сделал дверцу, которая открывалась внутрь и запиралась деревянной запоркой. С трудом вырвав её из-за надавившего снега, Колька открыл дверцу и упёрся в снег.

— Вот это да, — он присвистнул удивленно. Снег стоял запрессованный ветром, как стена. Короткой штыковой лопатой он стал рубить его и валить на себя, копая лаз. Он старался слишком не расширяться, но всё равно снегу набралось — огромная гора на потолке.

— Хоть бы балки выдержали, — думал он, с радостью уже замечая свет впереди. Наконец, он выпихнул последние сантиметры снега и вылез с трудом наверх. Увиденное, поразило его масштабом! Деревни не было! Лишь кое-где торчали холодные трубы, да выпирали темные крыши домов богатых горожан, летом до смешного высокие, сейчас по-детски низкие. По «деревне» в растерянности бродили несколько уже освободившихся человек и много собак, выбравшихся из-под снега и громко лающих. Яркое солнце светило радостно, но это не придавало оптимизма. Мужики, в основном с лопатами, возбуждённые и злые от перспективы трудов предстоящих, собрались и решили копать сообща.

— В каждый дом прокапываем лаз, освобождаем трубу, чтобы печи растопить, а остальное потом пускай хозяева ковыряют.

На том и порешили, взявшись за работу.

Этот, ужасный в своей силе, буран принёс много беды и большое горе. Про беды люди рассказывали друг другу, откапывая проломленные сараи с задавленными снегом животными, запрессованными ветром так, что у них повылазили языки и глаза. У кого сараи выдержали, скот, выпущенный на свободу, бегал разномастным стадом, не находя покоя, мычал, блял и гоготал. К вечеру пришла помощь на снегоходах из города с едой, тёплыми лёгкими вагончиками и людьми. Стало веселей, и работа, освещённая сильными фонарями, ускорилась. Про горе узнали через сутки, раскопав около загона своего дома замёрзшего Вовку Филина. Плачущая мать рассказала, что он ушёл незадолго перед бураном, «до лёгкого ветру». Руки его по привычке были загнуты за спину, хотя его замело перед дверями загона со снятыми и набитыми снегом штанами.

— Вот приспичило, не вовремя, — грустно шутили мужики, глядя на мокрый труп, оттаивающий в доме.

У Юрки тоже замело дом. Но у него, как у путёвого бизнесмена, дома был бензогенератор, и, вытащив насаженный на выхлопную трубу резиновый шланг на улицу, Юрка жил в тепле и при свете, пока освободившиеся мужики откапывали его дом...

В общем, природа нанесла первый удар по начатому недавно бизнесу. Про «ставить сети до Нового года» не было и разговора, а после Нового года уже и не нужно было. С января до середины апреля рыба, уставшая от дефицита кислорода, стояла в ямах, спокойно дожидаясь весны. Ой, что-то покажет весна?..

В конце декабря жена Юрки Ольга, которую, наверное, любил и Колька, засобиравшись рожать. Парни ждать не стали и, подцепив нарты, выложенные внутри шубами, увезли Ольгу за сорок км до большой дороги.

Там, на автовокзале вызвали «скорую», и уже через сутки Ольга была в больнице. Приехав домой, напарники сели в пустом, без женщины, доме за стол и, выпив по полустакану, заговорили. Юрка, блестя чёрными глазами, напирал:

— А не возьмём до последнего льда рыбы, что делать? И свежака не сдадим, и копчёной не наладим. План у меня Колька созрел, давай расскажу, а?

Колька, уже зная, что тот хочет сказать, разморённый теплом и водкой ответил:

— Я согласен. Давай попробуем, только вдвоём, по окончанию рыбалки. Никем не хочу рисковать.

— А справимся в двоих? — опять напирал Юрка

— Да мы сначала все вместе, это когда совсем плохо станет, их отправим домой. А сами останемся на день-два. Но мы за это время возьмём тонны две судака хорошего, сам же знаешь.

— Да, да! — протянул Юрка, — но выходить-то страшно!

— А страшно, давай дома останемся, бояться. Юрка поднял осоловелые глаза и пьяно произнес:

— Годится, идём!

В общем, расслабленные водкой, они договорились, что в апреле, в конце месяца, выставят сети за острова на ходовую, где рыбы тьма. Но в деревню возить её не будут, а будут солить, в большую яму со снегом на стоянке, где летом ремонтировали дом. За примерно неделю, пока лёд еще немного держит, они надеются насолить тонны три-пять судака. А в мае по воде забрать его на лодках и прокоптить. Прибыль — пятьсот процентов. Сто к шестистам!

Колька, пьяно топая домой, повторял Юркины слова. — И ребёночку нашему на распашонки хватит! — но он не понимал, сколько ни ломал голову, почему Юрка называл своего с Ольгой ребёнка НАШИМ?

Пьяный Колька этого так и не понял.

Эта зима показала свою прыть на все сто процентов. Рождественские морозы жали так, что люди вместо привычных гулянок сидели дома, каля пятки о кирпичные печи, дымящие с утра до ночи. Благо, что многие мужики не стали тогда, после бурана, полностью откапывать свои дома, и они (дома) были по окна завалены спрессованным снегом, как природным утеплителем. Именно поэтому не промерзли погреба с запасами картохи и солений. А с середины февраля задули крепкие снежные ветра. Задули с юго-запада, наметая за откопанными домами гребни твёрдого снега на многие-многие метры, восхищавшие ребятишек своей высотой и крутизной и злившие, и даже пугавшие взрослых.

— Что же это, Господи! — вздыхали бабки вечерами под свист ветра, — доколь дуть-то будет дуло?

И качали головами, с заплетёнными в хуленькие косички волосами, крутя в пальцах, как приклеенные, веретёнца с бесконечной шерстяной ниткой...

А чуть раньше, под самый Новый год, Ольга родила девочку, и Юрка уехал в город. А Колька топил в их доме печь и спал на их кровати, чувствуя, как ему казалось, запах Ольги. Снилось ему, как она ласкала его тогда, почти три года назад, целуя его, разжигая желание. И он в ответ обнимал её и крепко целовал в запрокинутое лицо. А когда проснулся среди ночи рядом с заласканной до мокроты подушкой и с больным, как после работы телом, не выдержав, на следующий день пошёл к Анюте — сестре покойного Филина. Она приняла его и, не задумываясь, пошла за ним. И почти трое суток пела песнь любви большая кровать Безгиных, рождая на свет двух счастливых людей, нашедших друг друга. И так была благодарна Анюта Кольке за это счастье, неожиданное и понятное, так любила его и ласкала, что опьянённый Колька на четвертый день предложил ей стать его женой.

Вот такие дела! А что, правда, надо людям, желающим жить? Жить! А не сачковать, вздыхая о трудностях! Жить, работать, отдыхать, любить друг друга, в конце концов, веря лишь в то, что завтра будет лучше.

Колька перешёл жить к Анюте с матерью, и мать Анюты полюбила его как родного. Зима не давала простора для дел, но Колька и Анюта наслаждались друг другом и радовались неожиданному счастью, успокаивая идиллией и мать, ещё не оправившуюся от горя.

Ольга, приехавшая в феврале домой, и узнавшая о Кольке и Анюте, тайком от Юрки горько плакала, уткнувшись в подушку.

Кто их поймёт — женщин?

* * *

Наконец и сюда пришло тепло!

Только к началу апреля весна победила Деда Мороза и расчесала ему бороду тонкими ручьями, слезящимися днём и подстывающими ночью. Колькина бригада, готовая к рыбалке, 15 апреля вышла из деревни и встала на острове.

Остаток дня топили печь в доме, немного выпили, открывая сезон рыбалки, парились в маленькой, но жаркой баньке.

С утра вышли на лёд и, разделившись на две бригады по четверо, погнали прогоны по двести метров в майну с двух сторон. Лёд был очень глубокий, поэтому за световой день обе бригады поставили по три майны, то есть по шестьсот метров сетей.

Вечером, делясь впечатлениями, радостные рыбаки, уставшие, но довольные, долго не спали.

— Завтра все вместе ещё поставим восемьсот метров и хватит, надо ещё успеть контрольные сети проверить.

Кольке нравилось, что рыбаки слушали его и понимали. Контрольные сети — это сети, по которым определяют, пошла рыба или нет. Проверят её — пустая, зна

чит остальные пускай стоят. Но если есть в ней рыба, значит, надо всё начинать проверять.

Утром на своём мощном снегоходе приезжал Юрка с рыбинспектором, пьяным, красномордым и здоровым.

— Тут всё ровно, пацаны, работайте, — он нагло щурил глаза, — это мой участок. Проплачивать не забывайте, и будет всё у вас спокойно.

Им протопили баню, где те долго парились, и после напились так, что Юрка мертвецки уснул, а инспектор начал вдруг экзаменовать мужиков на предмет ценового превосходства сиговых над тресковыми, злясь за то, что они этого не знали.

— Какие сиговые, нам судака хватит, лишь бы ловился он получше, — терпеливо улыбались мужики.

— Какие судаки! — инспектор выпячивал глаза и, как полугодовалый ребёнок, пытался встать из-за стола, необратимо падая обратно на стул. — А штраф? Кто-нибудь штраф считал? — и он, теряя суть разговора, стучал лохматой рукой по столу...

Кончилось тем, что гуляк загрузили в нарты, и Колька в ночь повёз их в деревню. В нартах пьяных вообще укачало, и он чуть не надорвался, перетаскивая их, как тяжёлые мешки, по просьбе Ольги в баню. Потом Ольга, в узорной ночнушке с накинута на плечи шалью и в больших валенках на голые ноги, держала Кольку за отворот куртки и улыбаясь просила зайти.

— Я тебя, Коленька, чаем напою с утренними булочками и молоком.

Колька, стараясь не сделать больно, пытался разлепить пальцы тонкой её руки, вдруг такие крепкие и сильные.

— Да пойми ты, скучаю я по тебе, Коля, любимый, не могу никак без тебя. Пойдём скорее, и дочь спит. Я с ума схожу, милый... А потом иди к ней, к своей дорогой.

Колька наконец оторвался и, держа её за руки, отступил.

— Нельзя так, Оля, я же с ним работаю! Он мой друг, как я потом? Мне хочется ему в глаза смотреть, а не в ноги, и не бояться ничего. Ты же сама так поступила, постарайся мне не делать больно, а ему — плохо. Он тебя любит.

Колька, пятясь, выскочил за ворота, заведя снегоход, быстро полетел к Анюте. Этой ночью прикинув к нему всем телом красивая женщина, благодарно улыбаясь, сказала тихонько на ухо: — Коленька, у нас осенью ребёнок будет!

И Колька, задыхаясь от счастья, смеялся и целовал её, любимую!..

* * *

Рыба, как по заказу, пошла с двадцать первого апреля. Вначале в дальних поставах, ближе к фарватеру, плотно и постоянно. Сети проверяли каждый день, рыбу на снегоходе возили в деревню, к Юрке. Там с помощником, он её сортировал и сдавал перекупщикам. Тёплые дни Юрку злили до слёз.

«Эх, холода бы сейчас, — психовал он, — лед бы ещё дней пятнадцать простоял. А так...» — и он махал в отчаянии рукой.

К тридцатому числу снег с берегов слез, как старая кожа со змеи, и берег темной резко отделился от голубого льда. Чёрно-коричневая земля парила на солнце, словно её подогревали снизу. На льду тёмные точки и какой-нибудь мусор, разогретые солнцем, проваливались, образуя дыры, которые быстро оседали по краям и расширялись. Тридцать первого утром Юрка в положенное время увидел на горизонте точки, превращающиеся в снегоходы с большими нартами, идущие метров по десять друг от друга почти полным ходом. Выскочив на отмель с остатками льда, а затем и на песок, снегоходы встали. Мужики радостно смеялись, поздравляя друг друга с удачным прибытием. Подсмеиваясь над собой, снимали нервное напряжение.

— А я смотрю, твои нарты проваливаются, а ты газу, газу. Хорошо техника не подвела, а так бы всё... — И опять облегчённый смех.

На четырёх снегоходах пришли семь человек и тонны полторы рыбы.

Колька остался на реке снимать сети и таскать их на остров. Юрка, дав распоряжение мужикам, попросил отца присмотреть за всем и, заведя своего верного «японца», с лёгкими нартами помчался обратно на остров.

* * *

Колька постепенно, от глубины снимал сети и на длинных лёгких санях свозил их на остров. Проверяли сети вечером, но уже утром они были полные рыбы. Поэтому приходилось спешить. Обрезая заморозки, он вытягивал сети прямо с рыбой, складывал на сани по сто метров и волочил на остров. Там бросал их у берега, закидывал льдом и снова шёл обратно за новой сетью.

На льду было очень жарко, он разделся почти совсем, оставшись в спортивном костюме и в лёгких бахилах. Азарт и понимание опасности, нормально уживающиеся в умных людях, заставляли его работать быстро и в правильной последовательности. Увидев спешащего от острова к нему компаньона, Колька по-настоящему обрадовался.

— Я технику на той стороне бросил, к острову не проедешь — земля. А около острова влетишь в заберег вообще, — он громко кричал издали. — Вечером ходим пешком!

— Молодец, не побоялся, всё-таки он настоящий мужик, друг, — подумал Колька и они, уже вдвоём, потянули сани. До ночи они сняли тысячу шестьсот метров сетей, перебрали рыбу, перепороли её и посолили в яме на снегу. Колька так устал, что не мог разговаривать, и уснул, не раздеваясь, в холодном доме на полу. Юрка ходил к снегоходу, освещая пустой лес фонарём, принёс

привезённую еду, сложил всё в ларь и, выпив сто грамм водки, тоже вырубился.

Колька проснулся первым и, вскипятив чай, разбудил Юрку.

— Идём на лёд, сети проверяем и смотрим по льду. Если ещё до завтра простоит — оставляем. Но, думаю, одну ставку надо снять. Просто не успеем, рыба сейчас будет в каждой ячее. Ничего, кроме судака, не берём — не к чему. Его бы успеть перепороть и посолить! — Юрка был согласен, Колька здесь понимал больше.

И вправду. Крупноячеевая сеть-шестёрка, была полна судака. Казалось, что к ним приплыла вся рыба, которая была в водохранилище, и ждёт сейчас своей участи, запутанная в сети. Взяв килограмм триста, решили всё-таки одну ставку (двести метров) снять.

— Мы и в одну ставку за две проверки тонну возьмём, — решили они. Рыбу, сложенную в пластиковые мешки из-под муки, за три ходки свозили на остров и до полночи опять солили. Спать упали на пол, теперь уже в совсем холодном доме.

Колька опять проснулся первым. Было светло, но солнце над лесом ещё не взошло.

Напротив крыльца на берёзе сидел блестящий, как новая туфля, скворец и, возбужденный весной и долгим перелётом, пел что-то на разные голоса, подражая всем, включая даже весеннюю капель.

— Птичка Божия не знает, — неожиданно вспомнил Колька и пошёл заваривать чай.

На льду уже страшно. Около майны положили огромный, квадрата в три лист фанеры и стали складывать на него сеть. Однако через некоторое время лист начинал тонуть вместе с рыбой, неотвратно продавливая лёд. Решили рыбу сразу складывать в мешки и разбрасывать по льду отдельно друг от друга. Это помогло, и Юрка, блестя глазами, заговорил.

— Колёк, давай до утра ещё оставим, утром снимем часов в пять, и сразу пойдём по морозцу. Думаю, что

тепла ночью совсем не будет, лёд немного подстынет, прорвёмся, а? Эту посолим, а утреннюю — с собой, на двух санях уволокём на хлеб с маслом! На двоих нормально получится, давай?

Колька, посмотрел на улыбающегося Юрку. — Но придётся бежать, возможно, на лыжах, сможешь?

— Смогу, смогу, что я безногий? Иногда приходилось по двадцать километров в день наматывать.

— То по земле, а здесь неизвестно, что будет завтра... — Они замолчали, продолжая работать.

Всё-таки ещё сто метров сняли и оставили всего сто. По сегодняшнему дню это мешков девять-десять. Пока солили рыбу, слушали глупого скворца.

— Ты лети в деревню, занимай там скворечник, ищи невесту, фраер, а то разорался тут нам, а там женщин ваших делят, — Юрка хохотал весело и заразительно.

За вечер закрыли забитый рыбой ледник, выволокли на лёд на съедение воронам и сорокам кучу рыбьих кишок.

Более-менее прибрали стоянку.

— Снегоход перевезём на лодке летом, пускай тут стоит — Юрка хлопнул в ладоши. — Думаю, всё сложилось удачно!?

— Ещё не сложилось, — пойдём спать, вставать рано.

Ночь не оправдала ожидания. Холода или даже небольшого морозца не было. Колька и Юрка, взволнованные, пробудились совсем рано. Скворец, опять поющий скрипящей дверью, уже злил.

Эх, сейчас бы крылья, — подумали оба.

— Давай бегом на хода, снимаемся и уходим, — Колька почему-то нервничал, — а то жадность фраеров погубит.

Лёд совсем осел. В прошлые дни утренний мороз немного сковывал верх льда, примерно сантиметра на два, что позволяло хотя бы довольно спокойно идти

туда и обратно. Сегодня же лёд был, как тряпка, мягкий, проваливающийся полосой под лыжами. Шли по сторонам, в двух метрах друг от друга, потому что второго вслед лёд не выдерживал.

Прямо на лыжах зашли на островок из фанеры и потащили сеть в огромную уже майну, разбитую сетью и водой. Судаки, вываленные на воздух, вставали дыбом и сейчас эта большая масса рыбы вызывала вместо удовлетворения страх. Но Юрка, ловко вырывая трепещущие тушки из сети и быстро складывая их в мешки, вернул оптимизм. Получилось полных девять мешков. Сеть, изодранную и скомканную в кучу, утопили в майне. Колькины сани были немного больше, на них положили пять мешков, Юрке — четыре. Всё делали быстро и молча, понимая опасность ситуации. Надев лыжи, скоро потянулись в сторону острова. Обойдя его полукругом по лежащему на земле прокисающему льду, вышли напрямую к деревне. Правда, по пути впереди ещё торчал небольшой островок с тёмным уже льдом вокруг, поэтому более опытный Колька решил обойти его. Юрка вдруг возмутился.

— Ну и что, что тёмный лёд? А по светлому обходить километр охота? Быстро пройдем и всё, обогнем островок — и до деревни рукой подать!

Он шёл впереди и не думал сворачивать, Колька, преодолев злость, шёл немного в стороне сзади.

Он видел, как под Юркой лёд проседал, образуя яму, постоянно движущуюся за ним. Сани, нагруженные рыбой, были уже почти наполовину скрыты холмом, образованным от провала. Если Юрка запнётся на секунду или остановится, он сам или сани уйдут под лёд. Колька понимал, что то же самое творится и с ним, поэтому старался идти ровней и плавней, не давя сильно на лёд. Юрка вдруг зачастил. Тёмный лёд, совсем жидкий, сдерживаемый только плотностью воды и остатками связки самого льда, сзади него начал проседать совсем быстро, и Юрка, ускоряя ход, засеменял.

— Юра, не сучи ногами, иди ровней. Если совсем плохо, скидывай лямки! Без саней выйдешь! — Колька орал, сам не глядя под ноги. Юрка, шире ставя ноги в охотничьих лыжах, выровнял ход, пошёл устойчивее. Колька поднял глаза, прикинул расстояние до белого, более крепкого льда и на вздохе неожиданно провалился. Лыжи прошли сквозь лёд и он, опускаясь с ними, успел правой рукой сбросить лямку саней с плеч и, расставив руки, повис на льду по пояс в воде. Всё! Лыжи, служившие опорой, теперь мешали выскочить наверх, и он, не думая даже, машинально дергая ногами, снял бахилы вместе с ними. Ещё не осознав беды, и не окликнув Юрку, опираясь на проваливающийся лёд руками, попытался выбраться из воды. Но острые шипы расслоённого льда втыкались в одежду и не давали хода вверх. Получалось, что Колька, растопырившись и повиснув на руках, постепенно намокая и тяжелея, тонул, а масса льда, уже не держа его веса, мешала вырваться из провала.

В мозгу стукнуло: — Всё!!!

— Юрка! заорал Колька. Тот, оглянувшись, продолжал идти. — Слышишь, помоги!..

Юрка, наподдав, сделал ещё несколько шагов и выскочил на белый лёд.

Белый лёд — это спасенье, он не размывает водой, сухой и плотный. Юрка упал на него и, повернувшись, подтянул сани. Снял лыжи, скинул лямку верёвки и быстро прошёл напротив Кольки.

— Что сделать, Коля? Я же сам провалюсь, если полезу, — Юрка растерянно разводил руками.

— Лыжу подай, я на неё обопрюсь, может, вылезу! — Колька, опираясь разведёнными руками, старался не шевелиться, чувствуя, что постепенно проваливается.

— А я? Как я потом? Вдруг ты того... не вылезешь? — Юрка кричал громко, и по его лицу Колька понял, что он уже всё решил.

— Тихо, Юра! Ты всё равно рыбу уже не потащишь! Сбрось мешки, а сани мне катни. Может, за них зацеплюсь.

Юрка, бегом проскочив до саней, свалил рыбу и также бегом — обратно. Встал напротив Кольки и уже хотел пихнуть сани, но Колька заорал:

— Стой! Не гони, Юра! Секунду, примерься, прошу. Это же моя последняя надежда, так понимаю! Да?

Юрка взглянул на него и, взяв сани за задники, присев, катнул к Кольке. Но веревку не подобрал, и сани, наехав на неё одной стороной, тормознули и, резко развернувшись в двух метрах от Кольки, встали поперёк.

— Что же ты, Юра! Ведь не доползу! Подпихни лыжей...

— Как? — заорал опять тот, — пойду и рядом проваляюсь. А у меня дети дома... давай вылазь! Что повис, как тряпка на заборе? — он уже орал с пеной у губ.

Кольку захлестнула злость, смешанная с настоящим животным страхом понимания, что это конец всего. И вспыхнувшая вдруг обида на Юрку...

— Иди домой, иди скорей! Там конечно любящая жена и дети!.. А я уж сам! Сам как-нибудь!

— И пойду! Что ты постоянно лезешь вперёд, дурак! И к Ольге прицепился. А она моя! Понял, идиот, неудачник тупой? — он судорожно подскочил к лыжам и, схватив их, побежал в сторону камышей — грани острова — проскочил через островок и, встав на лыжи, не оглядываясь, быстро пошёл по льду в сторону деревни.

Если бы здесь было течение, Колькина судьба была бы уже решена. Его, несомненно, утянуло бы в отяжелевшей одежде под лёд, и никакая сила бы уже не спасла от гибели. Но здесь вода была стоячая, поэтому только собственный вес сейчас был убийцей. Колька смотрел на сани, стоящие в пол-оборота к нему и понимал, что если рвануть вперёд, оперевшись во что-то, то он зацепится и сможет выбраться. Но убирать закоростеневшие руки с остатков льда нельзя ни на секунду. Тяжёлое и уже замерзающее тело сразу пойдет ко дну. Дно!

А ведь здесь не должно быть глубоко, метра два с половиной, может, и того нет. Что если наоборот: не торчать тонущим поплавком, а разбить остатки льда и, нырнув, выскочить? Понимая, что ещё несколько минут и мышцы заклинит от холода окончательно, он, как ему казалось, громко заорал и забил руками и ногами. Каша из воды и льда становилась жиже и больше в диаметре. Он орал и вертелся, упираясь в то, что было льдом, а теперь становилось холодной кисельной жижой. Он схватил за полы куртки и, резко дёрнув, разорвал замок застёжки, скинул её с себя на лёд и теперь, остановившись на секунду, смерил взглядом расстояние до саней и, неожиданно вспомнив Бога, нырнул. Господи, ура! Земля была в каких-то полутора метрах! Он, согнувшись, уперся в неё и, резко распрямившись, оттолкнулся. Так он никогда не прыгал, и наверное, больше не прыгнет. Вылетев из воды, в движении открыл глаза и, упав прямо около саней, схватился за длинную боковую дугу. Опершись на неё, перекинул тело дальше от майны и, схватив рукой верёвку, перекатился ещё и ещё. Затем ползком, раздирая в кровь руки и колени, не отпуская верёвки, прополз эти десять страшных метров и упал лицом на твердый лёд. Тело заколотила дрожь, такая сильная, что зубы лязгали, как кастаньеты. Волна радости захлестнула вместе с дрожью, и он заорал, катаясь по грязному песку, плача и смеясь одновременно. Потом, отбежав на клочок островка, упал на колени на тёплый уже берег и громко и слёзно заплакал, скрипя зубами и стуча головой о песок. Он, Колька, двадцати шести лет отроду, обманул — нет, обыграл! — сейчас старуху-смерть!!!

Но нет! Ещё три километра льда, через час-два превратящегося на солнце в сплошную кашу. Поэтому ждать нельзя! Он поднялся и увидел уже на подходе к берегу Юрку, точкой выделяющегося на льду.

— Интересно, а что он скажет людям, жене, отцу моему обо мне? Неужели грань между совестью и стра

хом совершенно стёрлась, оставив только страх, управляющий его поступками. И зачем он кричал про Ольгу? Оправдывал себя? Перед кем? Перед собой? Или действительно, в нём это чувство есть — чувство обиды, а, следовательно, бессилия и злобы? — Колька посмотрел на мешки с рыбой, разорвал завязки и вытряхнул её на лёд.

— Пускай птичья братия попирует на моём втором рождении! — думал он, не в силах побороть радости. Оглядевшись, увидел в камышах островка длинную, метра четыре, палку и, подобрав её, вместе с санками, ступил на лёд.

Юрка проскочив, последние метры льда, сбросил лыжи и побежал к деревне. Ему бы обернуться назад, посмотреть, что там идёт человек, брошенный им в беде, и Колька, жалея его дальнейшую жизнь, согласился бы не рассказывать людям, какой он подлец. Ведь не любят люди предателей во все времена — презирают!!! Но он уже бежал домой, на ходу сочиняя, как спасал Кольку, да не смог, сам чудом выбравшись из ловушки. Деревня ещё не вся проснулась, и он незамеченным проскочил домой. Ольга услышала шум в сених и быстро вышла в кухню. Юрка ввалился грязный, запыхавшийся и с ходу прохрипел: — Колька утонул!

Ольга, ахнув и сжав на груди руки, криком: — Как?! — и с сомнением, — врётся, дурак! — развернулась и заскочила в спальню. Юрка, сняв грязную одежду, побрёл следом...

— Мы шли параллельно, он с санями, я тоже. Он даже крикнуть не успел — сани провалились и... его за собой... А он лямку захлестнул на груди, чтобы верёвка не длинная была, и моментально... Я к нему — уже полынья. Мои сапоги — тоже под лёд, я их скинул и ползком, ползком, — он показывал ободранные руки, — отполз, и дальше. Его же уже не спасти, он моментально — раз, и все.

Ольга зажав зубами подушку, выла, поджав красивые ноги и оголив бёдра с тонкими трусиками.

«Красивая! — удовлетворенно подумал Юрка, — и моя, совсем...»

— Ты что по нему воешь, ведь и со мной могло такое быть, просто мне повезло! Или что, теперь виноват? — он потемнел глазами и сжал кулаки.

— Уйди, Юра, я просто плачу о человеке, плачут всегда вперёд. Потом будем радоваться, что ты жив.

Юрка, хмыкнув, вышел, сел на кухне достал из холодильника водку и выпил полстакана. Хмель ударил в голову: — Как себя вести, что сказать людям? — он посмотрел на руки — хорошо в крови, в зеркало — здорово, лицо ободранное. Он даже не помнил, где это он так, но сейчас всё было к делу. Зашла соседка и охнув от его вида, спросила, — что с лицом, Юра?

Он помолчал и, решившись, сказал: — Колька утонул, я вылез чудом. Сейчас пойду к его отцу, расскажу...

Но где там! Даже не дослушав «добрая» соседка уже бежала по деревне. Всё! Обратного пути нет. Он налил ещё, выпил и сел натягивать сапоги. Надо идти.

Колькин отец, увидев Юркину соседку, почувствовал в груди боль. Она бежала к ним и махала руками. Он встал, но ноги не хотели идти навстречу. Первые слова, забежавшей в дом были именно те, которых он боялся.

— Сын, твой Колька, утонул, — раздельно произнесла она задыхаясь.

Когда? — тяжело спросил мужик, держась за грудь.

— Не знаю, но точно. Юрка сам сказал, сейчас только, — и в завершение, — не плачьте! — выбежала из дома.

Колькина мать уже лежала без памяти, сестра обхватывала её, плача, а Ванька, всё поняв, орал. Отец вышел и быстро направился в сторону берега.

Через переулок к нему выскочила Анюта, не плача, а как-то скуля сквозь стиснутые зубы. Он схватил её и сжал, прижимая к груди и глядя голову:

— Не плачь, милая, ещё не плачь без правды. — И дальше пошли вместе. Издалека увидели Юрку, нетвёрдо идущего навстречу. Подняв лицо, он увидел их и, остановившись, закричал:

— Я не виноват, я говорил, хватит ещё позавчера! А он — ещё, ещё. и вишь, чё произошло! За Чайным, на глуби лёд — раз и всё. — Юрка рукой повёл в сторону воды, и все, посмотрев туда, увидели человека ползущего, опираясь на длинную палку, по проваливающемуся снегу.

Анюта в голос заорала и бросилась к берегу. Колькин отец, с какой-то болью посмотрев на Юрку, тоже побежал туда. И, казалось, полдеревни, зная всё и, словно спеша увидеть своими глазами свершившееся чудо, бежали мимо Юрки к берегу. Мимо не нужного никому Юрки!..

До берега оставалось метров пять льда. Колька встал, и бегущая впереди Анюта чуть не упала в обморок. Всё тело его и лицо, и руки, и колени были изодраны, кровь сочилась сквозь рваную одежду. От слабости он упал у кромки льда и жена вместе с толпой мужиков подхватила его и понесла к берегу. Увидев отца, Колька улыбнулся покусанными губами и сказал: — Нас батя не просто утопить, так?

— Так-так! — ответил отец, боясь громко говорить, чтобы не сглазить счастье. А рука Анюты не отпускала Колькиной даже на минуту.

Через месяц к дому Кольки и Анюты подошёл Юрка. Прикрикнул на собаку и вошёл в чистую светлую горницу. Навстречу поднялись сам Колька и Анюта, поддерживающая его за локоть.

Юрка постоял молча и, протягивая пухлый конверт, заговорил:

— Твоя доля, Колёк. Я всё сделал, продал, выручку поделил среди мужиков. Это твоё.

Он положил конверт и, не дожидаясь ответа, повернулся выходить, но встал в дверях. — Она уехала. Домой... с дочерью. Насовсем...

Знаешь, если бы всё повторить, я бы пошёл тогда к тебе. Поверь. Пошёл бы... Но. — И он, ссутулившись, вышел.

7.09.2012 г.

Вторая жизнь

Он не мог проснуться. Усталость, копившаяся в нём с самого понедельника, в пятницу взяла своё и окутала липким сном и сознание, и тело. Когда, наконец, мозг понял, что телефон поёт ему, рука сама рефлексивно нашла его, палец нажал на «связь», и «автомат», живущий внутри, прошипел: «Слушаю!»

— Саша, это я, Маша, с добрым утром. Я звоню по делу. Отец опять запил, соседи сообщили. Надо что-то делать, а то плохо всё кончится. Он сам не остановится. Подумай! Мы подъедем к вечеру, порешаем. Ну ладно, отдыхай.

Он растерянно прослушал гудки отбоя и, чертыхнувшись, открыл глаза.

Опять! Волна досады и даже злобы окончательно его разбудила. Если всё так — это пятый после смерти матери запой отца. Пятый! И, зная отца, Александр понимал: сам он не остановится...

Ноябрь, 2008 г.

Мать умерла внезапно, на седьмое ноября, день, который в деревне у них считался праздником по старой, ещё советской традиции. К тому же, как обычно, к этому времени муж, Михаил Кузьмич, определил пчёл в омшаник на зимовку, откачал и рассортировал мёд, навёл порядок в своём «пчельном» хозяйстве, и определился с работами на зиму.

Любящий во всём порядок и дисциплину, он составил себе расписание работ на всю зиму по дням, если не по часам. Поэтому когда за два дня до праздника жена его, Елизавета Петровна, единственная и любимая, сообщила, что на седьмое приедут дети с внуками, приобнял её и, чмокнув в бровь, ожидаемо сказал: «Ну, и чудно, спразднуем!»

Только вместо праздника случилось горе. Седьмого утром, достряпывая, пока все спят, праздничные пироги, хозяйшкa вдруг вскрикнула, прижав тестной рукой левую грудь и побледнев разгоряченным лицом, присела на лавку. Когда вошёл муж, она уже не дышала, облокотившись на стену и вытянув вдоль лавки ноги в цветных шерстяных носках.

Потом, года через два, Кузьмич сообразил куму, что, не оказавшись в гостях детей, он, Кузьмич, наложил бы на себя руки. А так всё как-то поддержка, хотя куда там...

Смерть всегда не вовремя. Почему-то кажется, что всё только начинается, что вот-вот закончатся трудные времена и впереди — покой и радость. И ведь доведись до каждого — так оно и есть. И жена его, Лиза, добрая и трудолюбивая женщина, поставившая на ноги троих детей, сейчас бы должна была радоваться жизни, отдыхать и нянчить внуков. А оно видишь как, с подковыркой произошло, не по-правильному. Судьба? Ничто иное — судьба! И это она собрала всех, дав возможность встретить беду вместе, поддерживая друг друга.

Похоронив мать и помянув её на девятый день, дети всё же разъехались. У всех дома, семьи, работа. Оставшись один, Кузьмич пытался убедить себя, что всё идёт по закону жизни, и что все ходим под Богом, но на сороковой день запил... Он никуда не ходил, никому не жаловался и, заперев двор на засов изнутри, вскрыл тридцатилитровую бадью медовухи. В первый день он осилил пять литровых кружек, своими ногами переходя за

медовухой через ограду из дома до сарая, где в погребе она и крепла. И когда проснулся под утро одетый, за столом, с непрожёванным и прокисшим во рту салом, сразу и не мог вспомнить, что с ним произошло. Потом, когда одыбался, выплюнул к печке изо рта и уверенно допил остатки из кружки. Посидел молча несколько минут, ощущая тепло и легкую эйфорию в теле и душе, и понял, что необходимо добавить. Только усилием воли заставил себя не торопиться и сначала растопить печь. Но, когда это сделал, уже с лёгким сердцем, не одевая верхней одежды, сбежал с кружкой в погреб...

Первые дни он пил, чтобы пьянеть, быстро и много. Когда остатками разума понимал, что теряет сознание, через силу делал несколько глотков и, закрыв глаза, падал, куда придётся и мгновенно засыпал. Крепкое здоровье и довольно трезвый прежний образ жизни, позволяли вначале его организму терпеть это издевательство над собой...

Через неделю он проснулся ночью, открыл глаза и стал слепо смотреть в потолок. И вдруг накатили мысли, вызывая то холодный озноб, то опять же холодный, но уже пот.

— А что, есть ли ты там, в темноте, тот красивый и чудесный мир, в который верят почти все старики? Ведь если он есть, то и Лизонька моя уже там прижилась и наблюдает за мной?

Упрямая и желанная мысль крепко засела в голове.

— Точно, гуляет по саду и наблюдает. А я тут что творю? — он, спохватившись, расшиперив руки, пошёл наугад и воткнулся в стену, по памяти перейдя через дверь, нащупал выключатель и нажал кнопку. Яркий свет вырвал из темноты кухню с разбросанными вещами, грязный стол с остатками закусок, литровую кружку с налипшими мелкими кусочками воска и остатками пчёл.

Печь, не топленная, наверное, дня три, совершенно остыла и тянула теперь холодом, а около дверцы её, на

полу лежал ящик от шкафа с фотографиями всей его жизни.

— Пьяный, наверное, смотрел, — опять с содроганием подумал Кузьмич, совершенно ничего не помня. Аккуратно, трясущимися руками собрал разбросанные фотографии, не глядя на изображения, боясь заплакать от обиды и боли.

Сверху оказалось вдруг фото совсем юной Лизы в ситцевом, коротком, модном в 60-е платье, красивой и родной. Увидев её, Кузьмич зарыдал, прижимая карточку к лицу и не чувствуя боли, стал стучать головой о тёмную уже, без женской руки, печь. Он плакал долго и неутешно, размазывая горько-солёные слёзы по обросшим щекам, пытаясь сказать милой фотографии, как ему плохо и одиноко теперь одному... Через полчаса, опомнившись и подняв ящик, унося его на место, вдруг увидел в старом тёмном зеркале человека с растрёпанными волосами, обросшего и безумного. Со страхом узнал себя и понял, что пора кончать. Сознывая, что сам остановиться уже не сможет, нашёл в жениных лекарствах димедрол и, нарвав шесть таблеток, проглотил их, запив кислой водой из стоявшего на столе стакана, а уже через час крепко спал на нерасправленной кровати жены...

Спустя сутки Кузьмич проснулся, вышел через мёрзлый, с крепким льдом в лужицах, двор и пошёл за деревню на взгорье, спросить у Бога, что делать дальше?

Конец ноября, 2011 г.

Александр ехал на вокзал и постоянно думал об отце. Раньше любимый и понятный, добрый и сильный, он был очень дорог ему. Александр уважал его и, несомненно, как казалось, понимал. Но после смерти матери всё как-то изменилось. Батя стал другим, неожиданно незнакомым. Его или, скорее, их с женой и двух сестёр стала возмущать самостоятельность отца, которую тот проявлял обычно после загулов. И вот сейчас, опасаясь скорее неординарных поступков отца, чем его нездорово

вья, Александр спешил к нему, несмотря на выходные и усталость.

— Ведь продал же он всё тогда, в первую весну после смерти матери. Продав, ни у кого не спросив, и пасеку, и почти всё хозяйство, — оправдывал себя Александр, приближаясь в тёплом троллейбусе к вокзалу.

Билет, заказанный по интернету, он выкупил без проблем. Но, посмотрев на зелёные цифры часов, при-сви-стнул.

— Вот, отвык от поезда, припёрся так рано. Ещё час с минутами до посадки, — он посмотрел по сторонам и, найдя свободные места в зале, пошёл и сел.

Поставив сумку на соседнее сиденье и подняв глаза, увидел женщину, смотревшую на него. Приятная, с уставшими серыми глазами, чуть вызывающая, но привлекательная полуулыбка посохшими, немного полноватыми губами, под глазами тёмные круги, говорящие о бессонном времяпрепровождении. Она смотрела прямо, не отводя глаз, смущая и этим раздражая его.

— Мы знакомы? — Александр попытался спокойно улыбнуться.

— Это не долго, — она потрогала рукой с облезлым маникюром платок на шее.

Что не долго? — Александр напрягся.

— Познакомиться не долго... И вообще, — теперь она, наконец, отвела глаза и густо покраснела. После секундного замешательства, быстро поднялась и пересела к Александру, машинально поднявшему сумку. — Пойдёмте, здесь недалеко, нормальная комнатка, чисто. Если у вас времени нет, можно так, не раздеваясь... Я рот прополоскаю... Не бойтесь, жидкость на спирту, никаких микробов...

Александр наконец понял, что нужно этой женщине и ошарашено ответил:

— Мне этого не надо, я женат. И вообще, считаю такое поведение скотством и грязью. Идите лучше работайте, что ли...

Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Она не уходила.

— Да-да, действительно. А я думала, что хоть с одним нормальным мужчиной сделаю это. А то всё гастарбайтеры, да гастарбайтеры... За волосы схватит и трясётся, как кролик, и тычет в горло, и глотать заставляет... Так и хочется откусить с корнем...

Александр еле подавил рвотный рефлекс и, повернувшись, чтобы прогнать её, увидел, что она беззвучно плачет, закрыв лицо руками с тонкими красивыми пальцами.

— Зачем вы... ты, мне это говоришь? Мне не интересно, чем ты занимаешься!

Он встал, перешёл на другую сторону прохода, но сев, всё равно смотрел на женщину.

Она вытащила бумажные платочки из сумочки, вытерла глаза, посмотрелась в крохотное зеркальце, чуть подкрасила губы. Аккуратно всё сложила, поправила платок на шее и, поднявшись, всё-таки взглянула на Александра.

— Извините, — и пошла по проходу мимо.

— Стой, сядь. — Он показал глазами на сиденье, она села. — Ты это зачем?

Она уже совершенно спокойно и тихо ответила: Тебе это надо? Спрашиваю, значит надо.

— А мне деньги нужны, вот и всё. Паспорт выкупить у старухи одной, злой и нехорошей старухи! — И она быстро, с отчаянием рассказала ему. — После института я — молодая учительница — приехала в городок «К» на практику. Там в общежитии с казаком познакомилась. Молодой, красивый, сильный сын степей, с чёрными, как смоль, волосами и блестящими глазами. Влюбилась, как дура, никого не послушала, уехала к нему... Одиннадцать лет жили душа в душу. Я учительствовала, он бизнес овечий развивал. Все каникулы с ним в степях и коней доила, и овец пасла, и волков отгоняла. Но вот

ребёнка родить ему не могла, беда! И решили взять мы дитё в детдоме, где-нибудь подальше... Поехала я через пол-России, в Кемеровскую область, нашла там, в детдоме, пацана, прямо на него похожего: чёрненького, смышлёненького. И, собрав все документы, поехала обратно. Приезжаю, а его не найду, и только его родители сказали мне так: «Сын наш здоровый и сильный, и жена у него должна быть такой, и дети!» В общем, не пустили меня в наш дом, а воевать я не умею. Поехала я на родину к матери, здесь пересадка, поезд через шесть часов. Зашла в кафе поесть, подседа ко мне женщина, пожилая. Разговорились, она вина предложила хорошего, выпили стаканчик пластиковый... Проснулась в зале ожидания, в сумочке пусто и записка.

Она подала Александру бумажку. Он развернул тетрадный листок: «Документы все у меня. За то, что беду от тебя отвела, должна ты мне семь тысяч. Как отрабатывать знаешь, чай, не девочка. По этому адресу комната для встреч, скажи, Анята послала. Когда деньги накопишь, бабке той скажешь, она мне передаст и встретимся. Обратишься в полицию — ничего не получишь. Я здесь всё вижу и знаю... Пока».

— А какую беду отвела? — Александр поднял глаза.

— Не знаю, скорее, врёт. У меня уже и билет был, и остатки денег. Домой звонить боюсь, мать старая, умрёт с горя. Да и отец не молод. — Она замолчала.

Александр, ещё раз осмотрев её, предложил:

— Слушай, а поехали со мной. Я к отцу еду. Ему помочь надо, он болеет. Ты у него поживёшь дней пять или чуть больше, а я за это твой паспорт выкуплю на неделю. И потом привезу его, и ты свободна...

Она перевела на него взгляд и устало ответила:

— А билет? Без паспорта не продадут же.

— Это я на себя беру, согласна? Если да, давай быстрее бежим, уже поезд объявили. Ну?

Она, закрыв глаза, сказала: «Да!» Он схватил её за руку и быстро пошёл вперёд, она — за ним.

— Ты — моя жена, паспорт забыла. Кстати, как зовут?
Александра.

— Тёзка. Но теперь, пока в поезде, ты Вера, сорок лет, двое детей: девочка и мальчик. Ты врач. Понятно?

— Да.

Около поезда, найдя вагон, он отпустил её руку и, всунув тяжёлую сумку, подошёл к проводнице. Через минуту тихого разговора вернулся и, взяв сумку, мотнул головой. Когда зашли в полупустой вагон, улыбнувшись, сказал:

— Твоя свобода всего тысяча рублей! Она снова, как на вокзале, покраснела.

— Могу отдать. У меня есть восемьсот рублей, за четыре дня... работы...

Александр, повернувшись к ней, тихо, но жёстко возразил:

— Забудь. Слышь. Никогда больше... — И, не найдя слов, отвернулся.

Поезд, лягнув железом, медленно пополз от вокзала.

Конец ноября, 2011 г.

Кузьмич поднял тяжёлую голову от стола. Сегодня он уже не пил, вернее пил, чтобы не умереть. За много дней ноября он совсем проспиртовался и прокис. Но только когда утром любимая корова лягнула его, не допустив до доек, он понял — хорош! С трудом отворив ворота, на автопилоте перебрался через улицу и, достучавшись до кума, попросил, чтобы подоили его Дека-бринку.

— Молоко себе заберите, а я в тюрьму, а то умру...

Тюрьмой Кузьмич называл пустой омшаник, где раньше у него зимовали пчёлы. Туда он брал с собой десятилитровую канистру воды, банку, а то и две, огурцов солёных, с рассолом. Кум закрывал дверь вверху на тяжёлый навесной замок, и всё. Через два-три дня, по своему усмотрению, выпускал соседа выздоровевшим.

Так и сегодня. Кузьмич, взяв шубу, спустился вниз, кум запер дверь и ушёл домой.

Через два дня, в очередной раз услышав на свой вопрос: «Как ты там?» — ответ: «Ещё рано», — и, идя домой, сосед Иван столкнулся в воротах с Александром. Поздоровавшись, он всё объяснил ему и передал ключ от «тюрьмы».

— А это кто? — спросил, лукаво улыбаясь, у Александра, глядя на приятную женщину.

— Это врач, отцу. — Ответил тот, направляясь к сараям.

— Надо, надо! — бормотал умный дед, зная, что вся семья Александра — врачи, и, посмеиваясь в бороду, покачал головой.

Александр открыл дверь и крикнул вниз: «Отец!» Снизу из темноты ответил голос: «Да!»

— Выходи, отец, поговорим, а то мне нужно в ночь возвращаться домой. Завтра на работу, давай порешаем...

— А что решать? Всё нормально. Завтра выйду здоровый и всё сделаю! Езжай с Богом, спасибо, что навестил.

— Да нет, отец, я не один. Со мной женщина приехала, сотрудница моя, в отпуске, хочет немного пожить у тебя, отдохнуть от города.

Из темноты показалось обросшее лицо Кузьмича, с закрытыми из темноты глазами.

— Сотрудница? Отдохнуть? — он открыл глаза и, внимательно посмотрев на сына, закончил. — Пускай, если чистое место найдёт. Я в столорке поживу. — И он спустился обратно.

— Всё! Пока, отец. Через неделю приеду. Её Сашей зовут. — И Александр пошел быстро в дом.

Александра стояла на улице, осматривая большой дом и сарай.

— Ты всё поняла? Нет, он не алкоголик. Просто, как затоскует по матери, пьёт. А так хороший, добрый. Не обижайся, у меня выхода нет. Боюсь, совсем погибнет. А через неделю приеду и паспорт привезу.

И, уже ничего не объясняя, быстро показал, где дрова, где погреб, что дома и, попрощавшись, побежал на остановку.

«Ну что же, это лучше, чем вокзал», — подумала женщина и вошла в дом.

На следующий день она начала убираться в доме, переодевшись в чью-то женскую одежду, найденную по подсказке Александра в большом старом шифоньере. Несколько раз видела Михаила Кузьмича, суетливо или как-то извиняюще пересекающего побелевшую за ночь ограду. Зимний день прошёл быстро, и уже вечером, собираясь ложиться, она опять подумала о нём. Правда, не злой, только, как показалось ей, старый или уставший, или не желающий следить за собой. Она ещё не поняла, но его решение ей не мешать очень нравилось. Расчесав волосы, встала перед высоким зеркалом в длинной до пяток легкой белой ночнушке и, улыбнувшись зеркалу, сказала неожиданно и, наверное, в первый раз в жизни: «Ты красива!» И, почему-то, очень счастливая, залетела под стежёное, тёплое, лёгкое одеяло.

Сегодня Кузьмич решил топить баню. Отпечаток пропойных дней оставался во всём. И, хотя вчера он тщательно мылся перед сном, гниблый запах пьющего чувствовался и в одежде, и в теле. Она ничего не говорила и даже не менялась в лице, сталкиваясь с ним в доме или во дворе. А его неодолимо тянуло к ней. И, с лёгкостью столкнувшись где-то, он с трудом от неё отрывался, ломая в себе желание что-то сказать или даже помочь.

Она, действительно, была с руками. С руками и, наверное, с желанием поскорее исправить и скрасить быт взрослого мужчины, с трудом справляющегося с проблемами одинокого житья. Совершенно не суетясь, по хозяйству она делала всё быстро и грамотно, почти ничего не спрашивая. Во-первых, убрала в доме. А там было что убирать за три года одиночества. Поскольку Кузьмич был неприхотлив, жил он в одной маленькой комнатке с диваном, шкафом под одежду и телевизором, пользуясь только кухней с огромной печкой, столом и холодильником. В двух других комнатах поначалу гостили дети и внуки, но постепенно ездить они стали всё реже, и последние месяцы комнаты, будучи без хозяев, посерели, забыв о радостях жизни. Она всё перетряхнула, простирала занавески, промыла стёкла и мебель, и на два раза — полы. В первый день Кузьмич, борясь с желанием опять опохмелиться, наблюдал за нею из окна своей столярки, литрами поглощая чуть подслащённую мёдом воду или прокисший огуречный рассол, мучаясь тошнотой. Уже вечером, когда в доме зажёгся огонь, он, по-волчьи озираясь, перешёл в баню и по пояс, со стоном и сжатыми до боли зубами, мылся холодной водой. Потом до жара растёрся несвежим полотенцем и опять перескочил в немного подтопленную столярку, прикрыл плотно дверь, и с удовольствием, ощущая разогретыми мышцами возвращение в организм силы, растянулся прямо на полу, на наброшенных пчелиных подушках, крытых шубой. Первую за месяц ночь он быстро и крепко уснул, укрывшись пахнувшим мёдом серым халатом. Под утро приснилась женщина с пчелиной мордой, называющая его «Кузьмич», а он, злясь, огрызался: «Михаил, Михаил». Когда, открыв глаза, увидел её, осторожно выглядывающую из-за двери, и повторяющую: «Михаил Кузьмич, пойдёте завтракать?» Кузьмич отказался, пообещав, что придёт ужинать, и она ушла. А он, злясь, потом целый час сидел на табуретке, смотря в окно и, нервничая, что

её долго нет. Наконец, она вышла и снова засуетилась по хозяйству. Теперь он смотрел на неё уже оценивающе и всё более замечая хорошие и приятные для него качества. К полудню второго, с «тюрьмой» четвёртого дня, он уже не чувствовал похмелья и только неприятный, знакомый после запоев металлический привкус во рту, лёгкая слабость и резкая вонь прокисшего тела напоминали о запое. Он вышел во двор, радуясь свежему морозному светлому дню, вдыхая через нос воздух, и неожиданно для себя, сказал вдруг ей, проходящей мимо:

— Завтра баня, не возражаешь?

Она остановилась и, улыбаясь посохшими губами, ответила:

— Нет. Очень хочу, вы-то как?

Кузьмич вдруг зарделся и торопливо, волнуясь, стал убеждать её, что всё уже хорошо.

— Остатки гадости выпарю из себя — и всё.

Она мотнула головой, и, не найдя что сказать, пошла дальше. И весь оставшийся день до вечера, он почему-то болтался по двору и сараю, неуклюже пытаясь ей помочь, смущаясь сам и вгоняя в краску её. Потом плюнул под ноги и снова ушёл в столярку, полностью отдав инициативу этой не знакомой, но захватившей его внимание молодой женщине. На ужин он тоже не пошёл, попросив только трехлитровую банку молока.

Утром проснулся рано и, выйдя за двор, пошёл через огороды на взгорье за деревней с редкими околками и извилистой неширокой рекой. Три года назад, когда умерла жена, он пришел сюда одним морозным утром и долго плакал, обращаясь, как к непогрешимому Богу, к великому солнцу. И, плача, колотил руками в стылую землю, поднимая ослеплённое лицо вверх, спрашивая у него, за что же он так с ним, ну за что? Однако молчало оно, лаская лицо его тёплыми лучами, заставляя сомневаться во всевидящем взоре своём. «Если видишь, зачем

допустил такое? Ведь не жить мне без неё!» Ушёл он тогда потерянный. За зиму обновил все ульи, подладил инвентарь и, сохраняя целыми и здоровыми все двадцать пять семей пчёл, весной продал всё скопом ферме из соседней деревни. Продал, сильно не торгуясь, чем расстроил всех односельчан, ценящих его мёд. Распродал и весь скот, оставив корову, любимицу Елизаветы, да десяток кур со старым охрипшим петухом. И жил так, незаметно, не занимаясь ничем, никому не мешая и не досаждая. А иногда срывался в загулы, пропивая ненужные теперь деньги.

... И вот опять сегодня всходило оно из серебряной от первых морозов земли. Всходило, пока не слепя глаза, и теперь, понятно, радовало. Надо же так, радовало! Давая уставшему человеку пока ещё только надежду на счастливое продолжение жизни. Встал Михаил Кузьмич навстречу Богусолнцу (потому что не знал иного) и, расправив плечи и подняв голову, громко, что есть силы, закричал: «Спасибо, Господи, спасибо!» И сел, вмиг ослеплённый и растроганный откровенностью сказанного! Придя домой и включив свет в ещё тёмных сараях, он увидел, что всё, в общем, в порядке. Декабрина, красивая породистая корова, лежала на свежей вечерней подстилке и спокойно жевала. Навоз был аккуратно сгребён в угол и не выкинут только потому, наверное, что люк для этого был сделан Кузьмичом под себя, высоко. У кур тоже было всё засыпано и убрано. «Вот молодец, и всё молчком, сама! Как положено в деревне... » — Кузьмич вошёл в баню. Это была его гордость и, действительно, хорошая постройка. Сделано здесь всё было так, как он сам это понимал и знал из опыта жизни. Первое отделение было рублено из ровных, круглых, выпаренных, не смолящих кедров, с окном среднего размера, площадью по полу в восемь квадратных метров. Вторая половина — мойка, была тоже срублена из кедра, до светлого, отшлифованного железной тёркой, тона. Там были угловой полог, деревянная бочка и тазы. Парилка

же была врублена из ровной осины, двумя сторонами в баню, делающей из пара целебный воздушный эликсир. Получался квадрат, разделённый на три части, с печкой посередине, которая топилась из прихожей. Одна сторона с парным поддувалом — в парилку, другая, с водяным баком — в мойку, а дверь для топления печи — из предбанника. Кузьмич занёс сухих дров, ровно положил и, подсунув кору, разжёл печь. Завораживая, разговаривая и потрескивая ровное пламя быстро обняло поленья и, чуть дымя, взялось.

Баня для Кузьмича, как для всякого русского человека, была живым существом, другом. В момент важных жизненных решений, он сначала приходил сюда, разжигал огонь и, глядя на него, растрёпанного, ласкового и тёплого, думал, как ему поступить. Во время болезней он обязательно протапливал баню и пропаривал занывшие вдруг кости или растянутые от тяжёлого труда мышцы и сухожилия. И с другой стороны, только здесь и не где-нибудь, позволял расслабиться своему телу, ибо баня для него была местом покоя и душевного равновесия!

Сегодня, прикрыв входную дверь, он долго смотрел в потрескивающий огонь, расставляя по местам растрёпанные мысли, путаясь в ощущениях и гадая о дальнейшем. Ведь только вчера, увидев совершенно не знакомую женщину, вдруг понял, что очень хочет ещё жить, жить и, возможно, любить — и ещё лучше, возможно, быть любимым... Потом он встал и, обращаясь к бане, поклялся: «Если всё будет хорошо, ты меня больше не увидишь таким грязным и больным... » Он закрыл дверь печки и вышел на улицу. Вышел и остолбенел. На крыльце с подойником в руке стояла она, словно молодая жена его в далекой юности.

— Я сейчас пойду, подою Декабрину и будем завтракать, — и скрылась в сарае.

Кузьмич сел на крыльцо и, прижав рукой засаднившую вдруг грудь, совершенно точно понял — он очень хочет, чтобы эта женщина осталась здесь навсегда.

Александра вышла из сарая с почти полным ведром. Кузьмич стоял у крыльца, и было видно, что он стесняется заходить в дом. Она подошла и, улыбнувшись, сказала:

— С коровой так нельзя поступать, она может совсем перестать молоко давать. Вы, когда выпиваете, её хорошо продаиваете?

Кузьмич, как маленький, насупился и нехотя ответил:

— Она пока не знает, что пью, ещё ничего — подпускает. А как уж запах пьянки — всё: и лягается, и молоко не отдаёт.

— Вот! Корова, животное, а понимает, что пить вредно! — Александра задорно улыбалась.

— То да, кто против-то? Никто! Только никак не получается пока... — Кузьмич чувствовал себя перед этой женщиной совсем пацаном или даже ребёнком. Ему почему-то хотелось её слушаться, спрашивать у неё разрешения и обязательно о чём-то советоваться.

— Ну, пойдёмте же завтракать, — и она, чтобы он не отказался, быстро сунула ему ведро с молоком, — вы забыли? Я — женщина!

— Да нет, это я помню. Даже очень... — Кузьмич опять покраснел ушами и, как в гости, не торопясь, поднялся за нею по ступенькам и вошёл в дом.

То, что он увидел, потрясло его. За три года он просто отвык от уюта, элементарного порядка, который помогает привнести женщина... Увидев, как всё до неузнаваемости изменилось, Кузьмич застыл на пороге.

— Я что-то думаю, потом поем, после бани, ладно? А то — не бритый, вонючий.

— А как же каша, молоко? Я же приготовила! Стойте!
— и она взяла его за руку.

Кузьмич враз вспотел и, не вырывая руку, стал оправдываться. Она засмеялась.

— Хорошо, тогда давайте познакомимся по-настоящему, сами. Я Александра, тридцать восемь лет, бывшая учительница. Теперь, — она взглянула на мужчину, — врач-психиатр!

Кузьмич, опустив глаза, запинаясь, проговорил:

— Миша, пенсионер. И почти, в общем, работы нет. Шестьдесят пять лет, живу один. То есть, жены нет, то есть, умерла...

— Ну, какой же вы Миша? Вы скорее уже Михаил, — она продолжала улыбаться.

— Ага, еще и Кузьмич, — он, как замороженный, держал её руку.

— Нет, вам Михаил лучше идёт, и ещё, давайте на «ты». Проще будет!

— Давайте-давайте. Правда, лучше, — он вытащил руку и, задом приоткрыв дверь, вывалился в сенки, — я пойду в баню подложу, надо тщательней за баней следить, чтобы лучше прогрелась. А после бани покушаем.

— Послушай, а где у вас здесь магазин? Я пойду к бане куплю себе... И после бани.

Он всё объяснил и на носочках вышел, опасаясь, что, ступая полной ногой, сильнее намарает.

В бане уже хорошо. «Правильная» печка топилась хорошо и прогревала всё помещение плавно. Набирая дров, Кузьмич заметил, что отбирает ровные полешки, как будто от этого зависит качество тепла. Заметил и сам над собой усмехнулся: «А не тот ли это самый бес в ребро?» Подложив ещё раз, всё осмотрел, расставил банную утварь, как считал правильно, вымел из парной тёмные листики из-под полка, поправил камни на каменке. Но мысли... Мысли вились вокруг этой жен

щины, каким-то чудом или роком, или, скорее, случаем сюда попавшей. И веник ей свежий: полегче и поприятней. Он поднялся под крышу и выбрал лёгкий пахучий берёзовый из тех, которые резал для себя на Святую Троицу... Минут через 10-15 услышал, как хлопнула калитка на воротах. Вышел, и она, розовощёкая, красивая и улыбающаяся, подошла к нему.

— Удивительно, ваша деревня далеко от цивилизации, а товары те же. Пойдём в дом, руки замёрзли, — и она первая забежала на крыльцо, он, как заколдованный — за ней.

В доме, наконец, решился и, разувшись, сел на лавку у стены. Она выставляла на стол покупки.

— Вот, тебе пена для бритья, по-моему, хорошая — «Жиллет», вот бритва одноразовая, но качественная. А вот шампунь, написано для настоящих мужчин. Надеюсь, это про тебя.

Михаил Кузьмич, обалдевший, сидел на лавке и душу его рвали такие восторженные чувства, что хотелось просто вдруг запеть или заплясать, как в юности в радостные моменты. Чтобы не показаться смешным от счастья, спросил:

— Это же, наверное, дорого? Деньги Сашка дал или свои тратишь?

Она на секунду остановилась и, глядя на него, спокойно ответила:

— Это мои, заработанные.

Достала из пакета зубную пасту, щётку и, глядя на них, словно себе, дополнила:

— А души мы делом очистим!

К трём часам баня поспела. Когда Кузьмич зашёл за ней, она уже стояла посреди избы, готовая идти. Стояла запахнутая чистой короткой «фуфайкой», закрывающей тело чуть ниже голых бёдер, с голыми, опять же, ногами в обрезанных коротких валенках и с головой, замотанной цветным полотенцем. Кузьмич, стараясь не смотреть на неё, повернулся и позвал:

— Идём.

Александра с готовностью зашлёпала следом.

— В общем, смотри. Раздеваешься здесь, отдыхаешь от пара вот на той лежанке, хочешь, подстели на неё покрывало. В парилку проходишь через мойку, там всё в тазах, готово: веники запаренные и водичка — поддавать на камни. Напаришься — выходи, отдыхай, остынешь — потом снова. Есть, кто без веника греется, но я так не могу, жар не прогревает кости. Ты сама смотри. В мойке всё понятно. Если что, я в столярке рядом, кричи...

Он, наконец, взглянул на неё и, увидев вместо глаз тёмно-синие звезды, еле сдерживаясь, вышел, плотно прихлопнув дверь. Зайдя в столярку, в изнеможении сел на верстак и, сжав руки в кулаки и опустив голову, простонал: «Прости, бабка, но, кажется, я не могу уже без неё, люблю уже, наверное... Нет, точно, люблю. Прости...»

Он слышал, как она топчет по неприбитому полу, как поддаёт и звонко охает, потом хлопает веником и кричит весело: «Ой, мамочка!». Он был там, с нею, и видел это красивое тело, жившее долго без него, но для него, это лицо, которое он ещё не разглядел, но уже знал досконально, эти глаза, в которых он полчаса назад утонул, точно теперь насовсем, и эти губы, которые он поцелует, как только она это позволит. Но только сама. Именно так! Ведь он namного, ох, как namного её старше и по закону жизни гораздо ближе к неизбежному... Как жаль, Господи, лет бы ещё десять-пятнадцать форы...

Потом она, наверное, лежала, отдыхала, потом опять зашумела водой. Ещё минут через пятнадцать хлопнула банная дверь и он, не успев соскочить с верстака, увидел раскрасневшееся лицо в дверном проеме столярки.

— Я всё, Миша! Знаешь, никогда не испытывала таких ощущений, никогда мне не было так свободно и чисто в бане...

Он смотрел на неё, поедая глазами всю:

— Лёгкого пара, Саша!

Улыбнулась и напомнила:

— Не задерживайся долго. Ты сегодня ещё и не ел совсем. Жду.

Она ушла в дом, а у него в ушах било: «Жду, жду, жду...»

Здесь всё пахло ею. Или, скорее, запахом, который он ассоциировал с нею, запахом чистоты и еле уловимых сладких духов. Раздевшись, он посмотрел на себя в зеркало, которое давно повесил сын для жены и сестёр. До смерти жены Кузьмич был здоров, как бык. В деревне мало кто, даже из молодых, осмеливался повышать на него голос. Лет двадцать назад ему врачи поставили диагноз — позвоночная грыжа, но, отказавшись от операции, он стал каждое утро качать пресс. К тому же чистый воздух, пчёлы, воля, любимая жена стимулировали его жизнь. В общем, шестьдесят ему не давали. Но последние три года подкосили его организм, и сейчас, глядя на себя, Кузьмич жалел о потерянном.

— Надо браться за себя, обязательно, — и он, поджавшись по-борцовски, напряг руки, — ничего, выправлю!

Боясь за голову, ослабленную алкоголем, сначала одел, пока прогрелся, спортивную шапочку, оставленную здесь сыном. Когда дождался пота и остудил тело в предбаннике до сухости, снова вошёл в парную, надел старую собачью шапку и подвязал её под подбородком: «Чтобы голова не лопнула!» Сев на полок и вдохнув воздуха, плеснул полный ковш настоя на каменку. В бане ухнуло глухо и сильно, как выстрел из ружья на туманном озере, шевельнув весь воздух в парилке. Кожа вспыхнула на секунды и, чуть отпустив, загорелась снова. Он крикнул, но веником не хлестал, немного шевеля им над протянутыми ногами. Сухой пар не просто накалял кожу и мышцы, но добирался до костей, расслабляя напряженные суставы и сухожилия. Через несколько минут истомы он снова набрал полковша

и плеснул повторно. То же самое!!! Теперь, пересидев первый протуберанец свирепого пара, он стал плавно шевелить веником над собой, постепенно увеличивая амплитуду удара, собирая жар именно в месте прикосновения! И так, раз за разом, пока раскалённый воздух не зажёт до нестерпимого руку с веником. Не выдержав, он соскочил с полка и, войдя в мойку, снял шапку и окатился ведром чуть тёплой воды. Потом проследовал в раздевалку и упал в изнеможении на лежак. Кровь, разогнанная по артериям и венам, незримыми путями изгоняла из тела всякие хвори, рассасывала уплотнения и гематомы.

Пульсирующие, возмущённые удары сердца раскачивали тело, как корабль на волнах.

— Ты это, того, Миша, не бузи, — шептал он сам себе, резко глотая воздух...

Потом, остыв, он тщательно брился дрожащими руками, но, порезавшись в двух местах безопасной бритвой, и, не сумев остановить текущую кровь, залепил порезы обрывками газет. В общем, через два часа, решив, что он сполна очистился после почти месячного воздержания от бани, он вошёл в дом.

Александра сначала охнула, увидев его, затем рассмеялась.

— Я залепил, — начал он, — а снимаю — кровь идёт. Пускай присохнет, потом оторву!

— Ну, нет! Будешь сидеть за столом, как вампир в крови. Ложись на постель, я оторву бумажки и прижгу духами... — не терпя возражений, она подтолкнула его к кровати.

Он лёг лицом вверх и, укрывшись по пояс полотенцем, закрыл глаза. Она, подойдя и наклонившись над ним, аккуратно оторвала бумажки и приготовленным бинтиком прижгла порезы. Кузьмич сморщил лоб.

— Больно? Давай подую.

А он, в отказе мотнув головой, с восхищением вдыхал в себя её аромат. Потом, приоткрыв глаза, через

щелочки смотрел на её, совсем девчоночье, лицо и с ужасом, и восторгом, опять зажимивался.

— Ну, всё. Операция окончена, будешь жить, — она ладонью провела по его лбу и, уже серьезно сказав, — не хмурься. Это тебя старит, — отошла к столу.

За столом всё было довольно просто, но очень и очень вкусно. Кузьмич, действительно, проголодался за эти дни, но ел основательно, не торопясь, понимая, что она явно наблюдает за ним. Почему-то молчали оба. Наконец, она спросила:

— А как ты связываешься с сыном или, вообще, с родней?

— Телефон где-то есть, надо найти. Первое время разговаривал, потом надоело отвечать на пустые вопросы, потом где-то бросил его...

— Надо найти. Это — не дело. Дети всё равно волнуются, да и просто на всякий случай.

— Давай найдём. Может, правда, надо...

Телефон оказался аккуратно сложенным в тумбочке под телевизором, вместе с зарядкой, старой электробритвой, фотоаппаратом «Смена» и сетевой радиолой, в виде ребристой белой коробочки без названия.

— Склад электротехники, списанной в прошлом веке?

— Александра, улыбаясь, держала в руках бритву. — Такая у моего отца была...

Да, я так стар... — Кузьмич вышел из комнаты.

— Слушай, Миша, я не к этому. Просто бывают вещи, которые дадут фору современным. У меня, например, была соковыжималка шестьдесят седьмого года выпуска, работала, как часы. И сейчас, наверное, работает... — Она включила телефон на подзарядку и продолжила:

— У тебя здесь сотня вызовов, наверное. Сейчас все уберу, а вечером позвоним сыну твоему.

Включив телефон, прошла в кухню и села напротив Кузьмича.

— А он тебе кто, сын мой? Только честно, если можно.

— Конечно, можно. Он — связующее звено между той, прошедшей жизнью и этой, между болью и спокойствием, между тобой и... мной, если хочешь...

Кузьмич поднял лицо и, глядя ей в глаза, сказал:

— Ты очень-очень хорошая! А он, мой сын, и почувствовал это. И ещё я хочу, чтобы ты осталась у меня... Насовсем! — он, упрямая ответ Александры, продолжил, — но не торопись. Подумай, ведь я предлагаю стать моей женой! До самого последнего дня. — Он поднялся, и она вдруг ответила:

— Не уходи, останься. Я не знаю, что сейчас сказать, ведь так много всего осталось там, в той жизни. И так много вдруг здесь... Я вижу в тебе человека настоящего, и даже верю тебе. Но как быть, чтобы не обмануть тебя, и, значит, себя, — она подошла и, взяв его за руку, заглянула в глаза, — давай всё будет сейчас, а потом как получится? А, может, завтра что-то изменится, может, ты передумаешь?..

Кузьмич тихо освободил руку, подержал её ладонь в своих огромных руках:

— В себе я уверен. Ты скажешь или да, или нет. Если да, я приду, и не будет человека счастливее, если нет, что ж... Это не убьёт меня, просто всё останется по-старому...

Он смотрел, смотрел, смотрел на неё и, резко развернувшись, вышел...

Поздно вечером громко и неожиданно зазвонил телефон. Александра взяла трубку и услышала женский голос:

— Где отец? Пьёт что ли ещё? А ты кто? Вместе бухаете? — было слышно, что они там с кем-то разговаривали. — У него там баба, надо самим ехать, слышишь, Лена? Санька что? Он мужик, ему всё равно, — и в трубку опять, — Слышишь, ты, как тебя? Скажи отцу, что мы сами едем, а сама убегай оттуда, пока не поздно, поняла?..

Александра выключила телефон и, присев на кровати, заплакала...

Кто знает, что чувствует человек, когда вдруг остаётся один? Вот все идёт хорошо: знакомые, друзья, может, любимые. Вдруг раз, и по чьей-то злой шутке — один! И знакомых нет, и друзья, оказывается, вовсе не друзья, и любимых нет, или не осталось. И — заметался человек, задёргался, заторопился! А обстоятельства только и ждут, чтобы ты заволновался, ждут, и наверняка, шанса тебе не дают. И вот тебе разом горечь потерь, обида одиночества и непонимание тех, кто вчера был тебе родней родного!

— Что же делать, что? — Александра упала на кровать и прикусила подушку. — Куда пойду, если выгонят, что делать?

Она вспомнила, как в первый раз «работала на вокзале», где-то в вагонных отстойниках. Клиент торопился, а она никак не могла пересилить себя и открыть рот, задыхаясь от специфического запаха грязного тела. Он по-своему ругался и, хватая её за волосы, больно давил в затылок и тыкал, скуля, в лицо. В конце концов, измарал, а её начало безостановочно рвать, казалось, наизнанку выворачивая желудок. Он испугался и, бросив сто рублей, скрылся в здании вокзала...

И хотя, конечно, есть сердобольные люди, и их, наверняка, больше плохих, но вот тогда не повезло, и ни один не помог ей. Судьба? Может быть, а может, и случай, которого зовут бродягой.

— Если погонят без паспорта — повешусь, — решила она.

Утром она вышла, но Кузьмич уже ждал её, глядя в дверь stoлярки.

— Ты рано. Я думал, поспишь, — он, улыбаясь, шёл навстречу. — Я уже всё справил, только корову подои, и пойдём завтракать.

Она молчком прошла мимо, не улыбнувшись, и у Кузьмича заскребло на душе.

«Наверное, решила уйти», — беспокойно подумал он.

Корову она подоила быстро. Кузьмич встретил её у порога, в дом они вошли вместе. В большой комнате пел телефон. Аккуратно разувшись, Кузьмич прошёл и взял трубку. Несколько секунд он слушал молча, потом громко заговорил:

— Кто пьяная, Саша? Сам ты пьяный! Она, рук не покладая, здесь всё убирает. Кто разговаривал? Сёстры? Послушай, сын, вам, действительно, нужно приехать. Приехать всем. И я скажу, кто и что значит в моей жизни... Обязательно... Все вместе... Жду!

Постояв несколько секунд, он повернулся к Александре:

— Сын звонил. Моим дочерям, его сёстрам, привиделось, что здесь что-то плохо. Приедут всей семьёй в субботу утром. Я думаю, это здорово, — он сел напротив женщины, налил молока, медленно выпил, и, улыбаясь, закончил. — В пятницу, послезавтра, всё мне скажешь. А в субботу я всё скажу своим детям...

Она тоже допила молоко и улыбнулась:

— Хорошо.

Два дня пролетели быстро. В четверг, на удивление самого кума, они вечером пришли в гости к нему, жившему через дорогу. Кум всю неделю поглядывал из-за забора за домом Кузьмича, но почти ничего не видел. Александра испекла медовый пирог, чем сразу расположила к себе жену кума, Полину. Кузьмич был в чистой проглаженной рубаше и джинсах, подаренных сыном. Весь вечер весело общались, а Полина, смеясь, рассказывала Александре о проделках мужиков, часто раньше гулявших вместе. Александра очень понравилась обоим, и, когда ночью прощались, кум долго тряс её руку, за что был назван женой «кобелём»...

В пятницу, после завтрака Кузьмич, пошарив в шифоньере, подал Александре деньги и, поднявшись, сказал:

— Иди, своё всё купи, пожалуйста. Всё, что надо, а я пока баню растоплю. Как бы всё ни кончилось, ты мне подарила неделю счастья. Настоящего, — он вышел. Женщина, растерянно посмотрев на деньги, оделась и пошла в сельмаг.

Вечером Александра зашла в баню. Ой, чего-то хочет уставшая душа, ой, чего-то хочет забывшее ласку тело. Она посмотрела на себя, голую, в зеркало и вдруг почувствовала тепло, волнами, идущее снизу и утяжеляющее сразу груди. Горло немножко пересохло, а носом внятно ощутила чуть сладкий, манящий запах желания, парящий прямо от всего тела: «Мамочка, да что же это?!» Она положила руку на пах и, сразу услышав горячие удары крови одновременно внизу и в голове, обессиленная желанной истомой, села на лавку. Почему-то с этим чувством ей не хотелось бороться, хотелось поддаться ему и испытать забытую радость физической близости с мужчиной. Она встряхнулась, открыла дверь в парную и, поддав для тепла пару, стала быстро мыться.

Кузьмич, услышав, что Александра заходит, удивился.

— Что-то быстро, не захворала? — он расстроено смотрел на неё.

— Нет, иди, мойся. Я на стол соберу. Есть хочется...

Согласно кивнув, Кузьмич неторопливо вышел.

В бане было всё не тронуто.

— Что это с ней? — Кузьмич вдруг тоже, без желания, похлестал холодное тело веником, быстро намылился и, обмывшись, вышел на улицу. Ноябрьская ночь была темна и величественна. Огромный дом стоял впереди, как вулкан с дымящимся жерлом — трубой. И над ним — яркие гирлянды звёзд, мерцающие и блестящие.

Пугающе яркая луна, жёлтым ликом освещала и, наверное, видела всё, до последнего замёрзшего воробышка, на земле. Хотелось или заорать восторженно, или, наоборот, восторженно, но уже молчать!

Он вошёл в дом. Александры нигде не было. Боясь, что она, уставшая, уснула, тихо прошептал: «Саша-а-а...» Она отозвалась из спальни:

— Зайди сюда, Миша!

Он, аккуратно ступая, раздвинул занавески на дверях и, войдя в комнату, увидел её, светлую в полумраке, сидящую на кровати без одежды.

— Что, Сашенька?

— Подойди, — она протянула руки и, взяв его ладони, прижала их к груди.

Кузьмич упал на колени перед кроватью и, оглуевший от восторга и радости, опять переспросил:

Что?

— Ничего! Ничего больше не надо говорить, не надо пытаться друг друга. Я жду тебя, и хочу...

Он, всё сразу понявший, и больше не сомневающийся, взял её лицо в ладони и крепко-крепко поцеловал в губы. Потом ещё и ещё, и в глаза, немного солёные, и, вместе со словами о любви, в шею, покорно склоняющуюся для его губ. И всё-всё-всё!!!..

И в первый раз за много дней, услышал, оглохший без женщины дом, её — женщины — радостные и счастливые стоны. Стоны любящей и благодарной любовницы!

Дети приехали к обеду. Сначала зашёл Александр и, улыбаясь, поздоровался с отцом, потом с Александрой.

— Вижу-вижу, у вас всё хорошо! — он быстро, пока никто не видел, подал ей сверток и отвернулся. Почти сразу вошли две похожие друг на друга женщины и высокий мужчина в очках, оказавшийся мужем одной из них.

Они как-то быстро заполнили почти всё пространство и многоголосо, и в разноречивой загомонили.

— Ну, хорошо, знакомь с новой женой. Недолго вдовствовал, громко и быстро кричала более полная и яркая. — Теперь, что? Всё? Любовь? А дети не нужны?

Кузьмич встал и, подойдя к Александре, что-то ей объяснял, держа за руку. Она кивнула головой в знак согласия и, одевшись, вышла, сопровождаемая недобрými взглядами. Упала тишина, только скрипел стул, на котором качался длинный.

— Толя, прекрати! — крикнула яркая, и длинный, испугавшись, прилип к стулу.

— Ну что, дети, что вы хотели мне сказать? — Кузьмич вышел к столу. — Чтобы не тянуть за хвост кота, скажу сразу, что я очень люблю эту женщину, и она согласна стать моей женой! И, без лукавств, я так рад этому, что не хочу больше ничего...

— Да ты хотя бы знаешь, кто она? — взвилась Мария, младшая дочь.

Кузьмич улыбнулся и ответил:

Узнаю.

— Да, хитра беженка! Ей дом нужен, а не ты. Их таких пруд пруди везде.

— Что ж, нужен, так заберёт, когда меня не станет. И дом заберёт, и всё, что имею, и то, что займеем вместе...

— А мы? — старшая из сестёр, Елена, вскочила и подошла к столу. — Мы, твои дети, внуки твои, что? Не достойны ничего? Вот здорово! Я в этом доме родилась, жила, работала и ничего не наработала, а ей, приживалке — всё?

Кузьмич ударил рукой по столу.

— Ещё раз обзовёшь её как-нибудь — выгоню. Да, я ваш отец и всю жизнь жил для вас, растил, кормил, ухаживал. Да, я любил вашу мать и, видит Бог, не изменял ей ни душой, ни сердцем. Но сейчас, пожив один, и встретив Сашу, я понял, что мне рано умирать! Я жить

хочу и сделать что-то для неё, для людей, для себя! А у вас всё есть, и во многом я помог вам так жить. Но если вам этого мало, скажите, что я вам должен! Скажите, я отдам! — он замолчал, задохнувшись.

Некоторое время стояла звонкая тишина.

Наш дом... — Начала Елена.

Мой дом, мой...

— ...Твой сейчас дом вместе с землёй стоит три миллиона. Пускай тебе, как хозяину, — миллион, нам на троих — два.

Саня удивленно свистнул.

Ты обалдела?

— Да, да, обалдела! А ты хочешь, чтобы она всё забрала и посмеивалась над нами? Так? Мало того, что он матери изменил, ещё и неизвестно кому отдать всё хочет, — Елена уже кричала, глядя на всех по очереди.

— Я... Мы не собираемся отказываться от вас или от внуков. У Саши никого нет, и мы будем стараться вместе с вами жить, мне же дорого всё, что было...

— А ей? Ей мы нужны? — теперь уже Мария, набравшись смелости, закричала на отца.

Кузьмич сел, закрыв голову руками.

— Дожился! Вот дожился! Дети мои порвать меня хотят за то, что жить ещё хочу. А я думал, так только в кино бывает. И что же мне теперь, вам по миллиону отдать, чтобы вы успокоились?

— Мне не надо, — поднял руку Александр, — я за тебя.

— А мне надо! У меня дочь — выпускница, ей в институт поступать. И у Машки вон, киндеров двое. Надо нотариуса, пускай пишет завещание при нас, — Елена раскраснелась от злости.

— Не надо нотариуса, я вам деньги отдам, — и Кузьмич вышел.

Сестры разинули рты.

— А откуда у него деньги и сколько? — заволновалась опять Елена.

Мария тоже возбуждённо молчала. Муж Елены промямлил:

— Можно я пойду в машину, мама? — но, услышав грозное «Сиди», опять замолчал.

Минут через пять Кузьмич вернулся с кожаной сумкой, отвисшей у него в руках от тяжести. Он поставил её на стол и громко сказал:

— Вы берёте это и привозите мне расписку, заверенную вашим нотариусом, что не имеете ко мне имущественных претензий!

— А что здесь? — все пододвинулись к столу.

— Здесь десять лет перестройки, борьба с алкоголем, дефицит, мёд и работа. Здесь то, что я копил на счастливую старость нам с бабкой. А теперь мне это не надо, я нашёл больше... — и он перевернул сумку.

На стол упала тяжёлая куча золотых изделий. Спутанные в горку цепочки, отсыпавшиеся и откатившиеся червонцы и кольца, тяжёлые и лёгкие серьги.

— Берите, делите, и к субботе я хочу жить в своём доме. В своём! И со своей женой! — он вышел.

Александр, подойдя к столу, подцепил пальцем и поднял вверх кучу драгоценностей.

— Люди гибнут за металл! — пропел он, а затем сказал, обращаясь к себе и к сёстрам, — надеюсь, вы понимаете, какие мы подлецы, заставляя отца платить за своё счастье? Я не с вами, — и вышел.

Александра вошла в столярку — небольшое помещение с выбеленными белыми стенами и навесными открытыми шкафами. Всё совершенно чисто и аккуратно. Инструмент — по местам, верстак — сухой и подметённый, небольшая железная печурка, прилепленная к кирпичной, от пола, трубе. Под окном — стол из отструганных досок с небольшой лавкой и вдруг, в баночке — красивые сухие цветы, чуть обломанные, голубенькие с белыми.

— Наверное, в сене нашёл. Может, специально накашивал для любимой коровы?

Успокаивающая волна нежности нахлынула вдруг в душу, заставив улыбаться и ясно радоваться мысли о человеке, которого знает неделю!

— Это удивительно, он почти ровесник моему отцу, а я думаю о нём по-другому и совершенно ясно представляю его рядом с собой, ближе, желаннее!

Она развернула пакет, там действительно был её паспорт, без прописки и без отметки о браке.

— Как они это сделали? — как и в первый раз удивилась она своей бывшей родне.

Но думать об этом совершенно не хотелось, даже больше: была уверенность, что дальше обязательно будет что-то нужное ей, достойное и не оскорбляющее её...

Она увидела Михаила, вышедшего из сенок, прошедшего куда-то за дом и вернувшегося. Не успела подумать ничего, он снова вышел и пошёл к ней. Увидев его лицо через окно, обрадовалась, поняв, что он идет именно к ней, следовательно, он от неё не отказался! Александра шагнула навстречу и Михаил крепко, но нежно её обнял, целуя в волосы.

— Не целуй меня так. Я хочу, чтобы ты целовал меня в лицо. Пожалуйста, — и она взглянула на него заплаканными глазами.

Он крепко поцеловал её.

— Больше никогда не плачь. Наверное, мы оба достаточно пострадали, но я мужчина, и сделаю теперь всё, чтобы ты забыла все свои беды.

На крыльцо вышел разгоряченный сын и, увидев следы в столярку, тоже направился к ней.

Он застал их обнявшихся и улыбающихся, и, тоже заулыбавшись, сказал:

— Если бы вы знали, как я рад тому, что я немного к этому причастен. Счастья вам!

Александр от избытка чувств махнул рукой и, подойдя, пожал отцу руку и чуть приобнял Сашу...

Ночью, умиротворённая Александра, лежала на груди Михаила и слушала, как здоровое сердце ровно стучит в его груди...

— Представляешь, я слышу, как оно, живое, шумит. — Саша, восторженная, тихо смеясь, прислоняла ухо в разные места груди. — Здесь — удары, здесь, наверное, кровь сливается куда-то, а здесь, наоборот, копится...

— Знаешь, как здорово, когда женщина вот так прикасается к тебе, прижимается... Мне кажется, что она доверяет мне слабость, свою незащищённость. В такие минуты испытываешь просто гордость, а именно за то, что тебя не просто любят, а еще доверяют всю себя... — Михаил снова и снова целовал Александру...

А на улице шёл первый серьёзный этой зимой снег. Было совершенно безветренно, поэтому большие лохматые снежинки падали на землю, не ломаясь, не трамбуясь, а создавая на предметах лёгкие горки, застилая землю высоким, почти невесомым ковром. Выйдет утром человек и, увидев снег, наступит осторожно на него, надеясь, что он удержит, а снег — ох! — и расступился под ногой, как холодный гусиный пух! И будет это волшебство и на домах огромными шапками, и на деревьях сверкающими белизной снежинками, и даже на заборе белыми шишаками!..

Зима! Зима пришла и будет владычествовать над землёй, долгие ещё четыре месяца, устанавливая свои суровые порядки и законы!

В середине декабря Михаил, всё больше и больше любящий свою женщину, почувствовал её грусть.

За ужином, не утерпев, спросил, боясь вопросом обидеть:

— Может, скучаешь о чём?

— Нет, всё хорошо, сам же знаешь. Скоро придут документы. В школе уже ждут после Нового года на

работу. Только хотела я съездить домой к матери, но, думаю, что то, что скажу, в тысячу раз важнее. В общем, Миша, у меня есть сын!

Михаил выронил из рук ложку и заговорил торопясь:

— Слава Богу! А я ведь вижу, чувствую, такая сильная женщина, мать, кровь с молоком, и одна. Быть не может, чтобы так! Как это здорово, родная! Где он, где, поехали скорее? Я ведь сам мучаюсь, что не могу больше это счастье испытать, и тебе, вижу, плохо. Где он?

Александра, не ожидавшая такой радости и боявшаяся лишних вопросов, ответила. Михаил, минуту поморгав, тут же предложил:

— Давай, собираемся! Хозяйство — на кума, а мы с тобой в три дня обернёмся. Кемерово вот, всего пятьсот вёрст, а ребёнку нужны родители. Ты всё больше и больше окрыляешь меня. Я обещаю, клянусь, что буду любить его всегда и называть сыном. И, надеюсь, он меня полюбит.

Михаил обнял Александру.

— Он будет тебя любить, потому что такого отца не любить нельзя.

И Александра благодарно замерла в объятиях мужа!

16.05.2012 г.

Яма

— Да, город — это яма. Угодивший туда выбраться из неё уже не может и, чаще всего, не хочет. — Это говорил Иван Иваныч, главный из четверых охотников, ехавших домой из тайги. Говорил он, как бы всем, но упор делал на семнадцатилетнего парня, своего тёзку Ваньку, которого взяли с собой в город в больницу. Ваньку лягнул любимец, маленький лосёнок Губан, которого они с батей нашли около погибшей от пули браконьера матери-лосихи.

Лосёнок уже почти месяц жил у них в загоне, привык к Ваньке как к кормильцу, а вот вчера, когда Ванька наклонился за ведром, лягнул прямо в лицо. И если бы лосёнок не был такой малыш, отлетела бы голова у Ваньки. А так — ничего: полежал полчаса, выплюнул два коренных зуба и, казалось бы, всё. Ан нет. Наутро правая сторона лица, точнее, челюсть, страшно распухла. Рот открывался с дикой болью, а есть он смог только молоко и то только потому, что оно жидкое. На счастье, на кордон к отцу, приехали охотники из города, и он уговорил их взять Ваньку в город, в больницу.

— Да пускай, с нас не убудет. Устрою его в больницу, подлечим, а пока то, да сё, у меня пускай поживёт, с сыном моим познакомится, — громко говорил директор чего-то там, Иван Иванович. Был он огромен, смешлив и говорлив. Остальные были, наверное, ран

гом ниже, больше молчали, меньше пили, но охотились азартно, не жалея сил. Через сутки, найдя по тайге, напарившись вечером в бане, напившись батиной самогонки, охотники тронулись домой, забрав Ваньку с большим рюкзаком подарков в город. Думали поспать, но дорога была из разряда «никаких », поэтому Иван Иванович громко разговаривал.

— Вот, взять мою жену. Привёз её тридцать лет назад маленькой, худенькой, всего боялась. Дали нам комнату в общежитии, так она варить выходила по ночам. Понимаешь ли, смотрят на неё. Про ванну и туалет вообще молчу — заставляла охранять, представляешь? И шёл ведь с ней, и стоял под дверью. Ладно, в туалет быстро, а когда в ванну ходила, полчаса стоял и разговаривал с нею через дверь, чтоб знала — не убежал. — Он громко, в голос, смеялся, широко открывая рот и по-хозяйски хлопая себя по коленям.

— А теперь? Теперь ты её из города никакими силами не вытащишь. На даче и то заставила туалет сделать и ванну. И хотя сделали, мне не трудно, — он хитро подмигнул Ваньке, — но дачный «комфорт» неудобств — пропадает. Так я себе в конце участка за деревьями простой туалет сколотил, с выгребной ямой. Так веришь-нет, как мне там хорошо думается, — он опять хохотал, заражая всех весельем, — только, вот, тяжёл стал, долго на корточках уже не могу...

Ваньке тоже было смешно, но смеяться он не мог из-за дикой боли в челюсти. Поэтому, зажав её руками, старался сдерживаться. Почти через сутки, въехали в город.

Иван Иванович был явно человек слова. Еще на окраине он позвонил кому-то и, ласково называя абонента «милая Аллочка», рассказал про Ваньку. Что отвечала Аллочка, Ванька не слышал, но никуда не заезжая, приехали в больницу. Тут Ванька испытал то, что испыты

вала, наверное, жена Иван Ивановича. Ему стало неловко и даже стыдно за себя.

Вокруг столько людей — чистенькие и ухоженные. Женщины и девушки в халатах милые, улыбочивые, красивые. И тут он, в своей защитной куртке, в солдатских крепких ботинках и старых джинсах. Да ещё с кривой опухшей рожей.

Но боль не давала шанса на отступление. Его позвали в чистый белый кабинет. Молоденькая медсестра дала ему стакан с зелёной жидкостью и попросила тщательно прополоскать рот.

— Вовремя, — подумал Ванька, ведь рот он давно не чистил, так как не мог в него засунуть зубную щётку. Затем его посадили в удобное кресло, которое опустилось, как кровать. Вошёл молодой врач с закатанными рукавами, ополоснул руки, сел около его головы.

— Ну-с, слушаю!

Что? — не понял Ванька.

— Что случилось, рассказывай.

Ванька застеснялся: — Лось лягнул, точнее, лосёнок, а я нагнулся неудачно, вот и получилось.

— В милицию заявил? — врач аккуратно пальцами полез в рот.

— На кого? — Ванька вытаращенными, слезящимися от боли глазами смотрел на маску, прикрывающую рот врача.

— Ну, на Лося этого. Это ведь чья-то кличка, я правильно понял?

— Нет, это правда, лось, а кличка у него Губан. Он ещё маленький, совсем ребёнок.

Врач встал.

— Ну, не знаю, ребёнок это или нет, но выбил он тебе два зуба, третий сломал и челюсть у тебя сломана. — Он помыл руки, вытер их белым полотенцем и снял маску.

— А Лося этого зря боишься. Думаю, милиция тебе поможет.

Но тут подошла медсестра и что-то тихо сказала ему. Врач засмеялся.

— А, вон оно что, а я думаю, что за лось? В общем, определяйте его в палату, все анализы, и завтра операция.

Ванька растерялся. Но когда вышли, их встретил Иван Иванович.

— Не дрейфь, Ванёк! Операцию сделают, а жить будешь у меня, в комфорте и удобстве. Хата у нас большая, живём втроем. В общем, поехали. Мне врачи позвонят, машину за тобой вышлю. Всё. — Ванька, обалдевший от всего, а более от людей, которых уже увидел больше, чем за всю прошедшую жизнь, только мотал головой, соглашаясь со всем.

Больница поглотила его сразу всего, сделав слабым и поддающимся всему, что бы с ним ни делали. И вечером, улегшись, наконец, на кровать, он был доволен, что всё пока кончилось, хотя голоден был, как медведь весной.

Неожиданно приснился сон — воспоминание.

Года два назад, весной, они зашли с бате́й далеко в тайгу проверить медвежьи лёжки. Шли тихо, и когда недалеко раздался медвежий рёв, Ванька схватился за приклад своего «зауэра». Но отец приложил палец к губам и рукой стал показывать в сторону большой поляны. Ванька присмотрелся и среди кустов и осевшего от тепла снега увидел худого, облезлого медведя. Медведь встал перед сосной на задние лапы и, рыча, резко сгибался, обдирая с сосны кору. Некоторое время его не было видно, потом он опять вытягивался во весь рост перед сосной и опять рыча и обдирая дерево, сгибался.

— Тяжело ему сейчас, ох, тяжело. Он всю зиму в туалет не ходил и сейчас у него прямая кишка пробкой заткнута, как бочка. Может, поможем?

— А сможем? — Ванька смотрел на отца, как на волшебника.

— А вот, смотри. — Отец поднялся во весь рост, приложил ладони рупором ко рту и резко, и громко прокричал:

— А-а-а-а! — Медведь присел, в ответ хрюкнул и, припрыгнув, поскакал по-лягушачьи в лес, громко пуская газы. Отец весело смеялся:

— Ну, прорвало, наконец.

Когда они подошли к ободранной сосне, всё вокруг было усыпано коричневым вонючим медвежьим пометом.

...Ванька в темноте открыл глаза. Пахло из его полуоткрытого, давно не чищенного рта. — Скорее бы операция.

Операция прошла успешно. Ваньке вырвали третий обломанный зуб и наложили на челюсти шины. За эти дни ничего не евший, а только пьющий кефир, Ванька стал похож на Дон Кихота, каким его рисуют в книжках.

Он устал от больницы, от общенья с людьми, от невозможности остаться одному и от больничного запаха, который, казалось, вьелся ему в кожу. И когда через неделю ему сказали, что за ним пришла машина от Иван Иваныча, очень обрадовался. Врач объяснил, как снимать резинки перед едой, как промывать рот лекарствами, которые ему дадут, и когда приехать на осмотр. Шофёра он знал. Молодой, до тридцати лет, парень был похожим на Иван Иваныча и характером, и поведением. Всю дорогу смеялся и рассказывал весёлые истории из жизни города.

— А ещё тебе жениться сейчас надо, на время. И не бычься. Кто тебе будет бульоны варить? Я? Или Татьяна Александровна? Дак у неё без тебя забот много. И опять же, мужские дела подсобнее справлять со своей женой, а не бегать в поисках по городу.

Ванька предательски краснел, а водила заразительно смеялся.

— Давай вот щас подвернём — вот они стоят, и выберем тебе, какую хошь? — и он наигранно крутил рулём в сторону девчонок, стоявших на обочине, а Ванька испуганно мычал сквозь резинки во рту и тряс головой.

— Что, не хочешь? Ну, не буду, не буду. Живи на кефире, только скоро ты от него дойдёшь до полного мумифицирования... — Наконец, приехали.

Оказывается, Татьяна Александровна — это жена шефа, привлекательная ещё, но уже тучная женщина. Она встретила его довольно приветливо, провела по дому, показала, где он будет спать, где мыться, где есть. И, усадив в кухне на мягкий стул, стала расспрашивать о нём самом. Но, поняв, что говорун с Ваньки никакой, спохватившись, предложила поесть.

— Есть я хочу, но челюсть не жуёт, больно. Мне бы кефира.

— Да какой кефир! Нашёл еду! Я сейчас тебе такой бульон заварганю. — Она открыла кастрюлю, налила в литровую банку супа и затем белой штукой, похожей на штырь с ножичками, загудела.

— Это блендер. Я тебе сейчас промелю до состояния кефира, ты напьёшься и наешься.

И, действительно, сняв резинки, он напился такой вкусноты, что от души сразу отлегло, стало легко и захотелось спать. Татьяна Александровна села напротив, вытянула ноги в чёрных чулках и неожиданно закурила тонкую сигарету.

— Что, хорошо? Ну иди, поспи немного. Скоро Костя придёт из школы, будешь знакомиться.

Ванька поблагодарил и, уйдя, быстро уснул на широком, предложенном ему диване.

Костя оказался очень похожим на отца и одновременно на мать. Этот парадокс сразу удивил Ваньку, и он даже пытался угадать, как же так могло получиться.

Уверенная отцовская крепкая походка, широкие жесты и весёлый нрав. И в тоже время материнская плавность и практичность поступков. А в-третьих, было видно, что он явно понимал, чей он сын.

Вечером он уже свысока, поучительно-самоуверенно высказывал Ваньке:

— Вот тебе сколько? Семнадцать. А что ты видел? Сосны да болота? Зайцев да лягушек, лисиц, да... этих, как их. которые токуют, петухи? А я в шестнадцать полмира уже объехал, за рубежом уже три раза был и в Артек, как в соседний магазин, езжу! Ты, наверное, и телевизора-то не видел?

Ванька психовал: — Видел!

— Ну, может быть, и так. А знаешь, что такое CD-проигрыватель?

Ванька растерялся: — Нет.

— Ха-ха-ха! — смотри.

Костя вставил маленькую блестящую пластинку в небольшой аппаратик и нажал кнопку. И, удивительно, по телевизору стали показывать самого Костю в длинных трусах и таких же, как он, юношей и девушек.

Затем хохочущего Иван Иваныча с пузом навывает, обнимающего Татьяну Александровну и ещё много всего.

— Ну, что, понял? А ты говоришь.

И Костя опять начал рассказывать про городские чудеса.

— А кинотеатры? А дискобары? Я там, между прочим, постоянный посетитель и плачу за вход уже не сто рублей, а тридцать. И пиво бесплатно. А сколько людей!!! И никто тебя не знает, понимаешь. И никому до тебя дела нет, а ты сам делай, что хочешь, и живи. Живи и кайфуй! — Костя задохнулся от восторга и махнул рукой.

— Я ещё учусь, отец не хотел, чтобы я рано школу кончал. И сейчас уже знаю, куда дальше пойду, как

жизнь свою буду налаживать. Как подумаю, что можно сделать, голова кругом. Отца везде знают и уважают, поэтому мне везде дороги открыты.

Костя, сидя напротив Ваньки в кресле, раскраснелся, воодушевлённый своими перспективами.

— А ты что хочешь в жизни делать?

Ванька молчал. И что, действительно, он мог сказать? Что нравится ему его тайга? Что, если бы не этот случай, не стал бы он находиться ни одного дня здесь, теряя свою вольную хваткость, задыхаясь и кляня обоняние, потому что запахи настолько резкие и мерзкие, вызывали постоянную головную боль и оскомину в горле? Что от постоянных звуков он просто теряет ориентацию, не реагируя уже на что-то отдельное из-за постоянного шума и гама? Что чувствует, как бетонные стены вытягивают из его тела силу!

— Я хочу жить с отцом и матерью на кордоне. Хочу построить дом и привести в него простую девушку, согласную жить по заветам наших дедов.

А это как?

— Как? Да просто. Растить детей, любить свою землю, не загаживать её, а жить с ней в мире. Вдыхать по утрам хмельной, пьянящий, сладкий от чистоты воздух, встречая яркое, умытое волшебной росой, солнце. Не орать, пытаться быть услышанным, не переступать через людей, не замечая их боли, а помогать им, не лицемерить и не врать. В конце концов, надеюсь, что так лучше.

Костя поднял руку, улыбаясь, требуя слово.

— И думаешь, у тебя это получится?

— Думаю, да, потому что другого не хочу. — Ванька держался рукой за челюсть, которая заныла от долгого разговора.

Вечером пришёл Иван Иванович и, зайдя в Костину комнату, громко позвал Ваньку к столу. Но Ванька не пошёл на общий ужин, сославшись на сильную головную боль.

Проснулся Ванька поздно, Кости в комнате уже не было. На столе записка: «Диски в шкафу, любуйся жизнью, недоступной тебе». Записка покорила, но время скоротать как-то надо. Открыв шкаф, он читал названия и откладывал диски. Что хотел увидеть, он сам не знал. В конце концов, взял диск из глубины шкафа и нажал, как учил Костя, зелёную кнопку. Побежали не русские буквы, затем иностранный разговор и начало сюжета. Парень с девушкой разговаривают о чём-то, улыбаясь открыто и радостно, затем быстрое движение навстречу друг другу, поцелуи — и вот они уже раздетые. И уже через минуту секс, открытый, без купюр и, как показалось Ваньке, хамский. Конечно, он знал, что это такое, но так явно и бесовестно, что такого он даже не мог себе представить. Стало вдруг стыдно, что он это смотрит, и очень неудобно, словно подсматривает за чем-то личным. Он торопливо выключил CD-проигрыватель и забросил диск на место.

— Вот это да! Что это такое, и кому принадлежит? — Неприятное чувство колыхнулось в груди, словно, в вонючее болото залез. — Господи, как же всё это противно.

Он пошёл на кухню, откуда доносилась негромкая музыка. Оказалось, Татьяна Александровна мыла посуду.

— Доброе утро, больной. Что, настолько всё серьёзно, даже вчера выйти не смог? — она села на стул, вытянула ноги в чулках и закурила. Ванька стоял в кухонном проеме.

— Да, но сейчас легче. — Он неотрывно смотрел на толстую струю воды из крана. Она заметила этот взгляд и выжидающе молчала.

А куда вода убегает?

— Вода, гм, не знаю, наверное, в выгребные ямы какие-то или в канализацию.

Как это? А почему вы краны не закрываете?

— Да я, мальчик мой, плачу за воду, и к тому же река

наша такая огромная, и моя струйка в ней, как капля в море...

— Но ведь в городе миллион человек и если половина не закрывают краны — это же какая масса воды?!

Ванька закрыл воду и стоял, опустив голову, покрасневший и взволнованный.

— Знаешь что, юноша впечатлительный. Это ты сначала такой волнительный и скромный, добрый и обязательный. Посмотрим, что с тобой через годик будет. Пожалуй, своего не упустишь, будешь рвать и метать. Это тебе здесь, а не там. Здесь тебя жизнь заставит, а если нет — затопчат тебя люди и обстоятельства, запомни это, если хочешь хорошо здесь устроиться.

— Да не хочу я жить в этом вашем городе и никогда не хотел! А если вам нравится, оставайтесь с Богом, процветайте. Только однажды выбраться уже, наверное, не сможете из этой вашей любимой — ямы... Простите, если что.

Ванька заскочил в комнату, схватил свой рюкзак и, уже открывая входную дверь, услышал за спиной повелительно:

— Стой!

Он остановился, резко развернулся, готовый отстаивать свое право на уход. Татьяна Александровна стояла в двух шагах от него, плавно покачиваясь на носках, скрестив на груди руки, увешанные дорогими тонкими браслетами, спокойно улыбаясь.

— Послушай меня, гордый сын воли. Я тоже уходила, уходила уставшая и разбитая городом, уходила больная от его суеты и проклинаящая его, уходила одинокая из толпы людей. Мне казалось, что я ненавижу его, и так оно, скорее всего, было. В довершение всего, меня никто не понимал, даже муж. Уходила и... возвращалась, благодарная Ивану за то, что он меня не останавливал. Так что иди, только деньги вот возьми, без денег не попадёшь домой.

Ванька растерянно, молча подошёл, взял деньги, сказал дежурное «Спасибо» и вышел.

P.S.

Толпы народа. Автобус до вокзала, касса, наконец, билет куплен. Но билет на 20:00 вечера, а что делать целый день? Вышел из вокзала и, поддавшись интуиции, просто пошёл мимо домов, через дороги и потоки машин. И даже не удивился, придя на берег реки. Но это была не та река, к которой он привык у себя в тайге.

Серо-зелёная масса, жирно мерцающая бензиновыми разводами, заплёванная окурками, закиданная бумагой и целлофаном, пенящаяся у берега ядовитой жёлтой пеной — это была не река, а именно та канализация, куда стекали все городские нечистоты. По крайней мере, так ему показалось, на первый взгляд.

Ванька, человек, который стеснялся даже плюнуть в реку, смотрел вокруг себя и испытывал такие ужас и боль, какие не испытывал никогда в жизни. Словно кто-то очень родной ему попал в ужасную беду, где решался вопрос: жить или нет, а он не знал, как помочь.

— Зачем я пришёл сюда? — загипнотизированно смотрел на зацепившиеся за торчащую корягу целлофановые пакеты, словно пытающиеся плыть против грязного течения, — лучше бы спокойно сидел на стульчике в зале ожидания.

Ванька развернулся и, ускоряя шаг, пошёл обратно в город.

— Нет, нет, есть ещё места, где я нужен и где ещё могу, наверное, помочь. Не допустить такой беды.

На кордон Ванька пришёл вечером следующего дня. Тёплый вечер начала июня до липкого разморил огромные высокие кедры, не такие монументальные, но лохматые сосны, и тёмные пикообразные ёлки. Всё это, знакомое с детства величие и устоявшееся годами спокойствие, до восторга захватило его, заболевшую в городе душу. Он, словно маленький сорвался с места, перескакивая от одного знакомого дерева к другому, обнимая их стволы, как добрых друзей, и разговаривая с ними, забыв о стягивающих челюсть резинках. Вбежав

в окружённую обвисшими сосновыми прожилинами ограду, Ванька растерянно остановился около дома. Тяжёлая деревянная входная дверь была подоткнута массивной, потемневшей от времени палкой, заменяющей замок. Родителей не было дома, и парень, бросив на крыльцо рюкзак, побежал к загону.

...Губан его словно ждал! Его большая угловатая голова была повернута к Ваньке. Увидев его, лосёнок смешно и коряво заскакал навстречу. Растроганный Ванька не остерегаясь, обхватил его голову и прижавшись к ней лицом зашептал в ухо другу:

— Ну, что ты, губоротый? Думал, что уйду я от вас, да? Как бы не так! Нет на земле места, роднее этого и нет его дороже! И пускай они там, как могут, — он заглянул стригущему ушами лосёнку в глаза, увидев в них своё отражение, — а мы здесь будем, как надо!

Губан положил свою тяжёлую морду ему на плечо, поверив Ваньке и согласившись с ним!

10.03.2009 г.

Защитник

Дед вставал рано. Ещё летнее солнце только-только внятно осветило двор, разбудив горластого петуха, ещё только на листиках конотопа начали набухать капельки росы, а он уже протопал к пристройкам, оставляя на мокрой траве тропинку. В этом году, весной, разменял он девятый десяток и потерял бабуку, с которой прожил почти шестьдесят лет. Она умерла, не боля, просто раз — и всё, и это так поразило его, что он перестал разговаривать. Вокруг суетились люди, приехали дети. Его постоянно тормозили, сочувствовали, спрашивали что-то, а он просто ничего не мог сказать. Старший сын думал, что он «тронулся», но приглашённый врач опроверг это. Промыкавшись два дня, он на кладбище, наклонясь над гробом, вдруг сказал: — «Что же ты сделала, старуха, мы же вместе собирались жить и вместе умереть. Забыла, что ли?» И, не договорив, завалился набок. Его откачала фельдшер. Бабуку похоронили.

Дети жили у него до девятого дня. После разъехались по домам, и он остался один. — Куда же я поеду? — отпирался он от приглашения жить с детьми. — Да и хозяйство у меня. На кого брошу?

В хозяйстве у него было пять куриц-несушек, горластый петух, рыжая кошка Тесто, которая котёнком чуть не утонула в квашне, и дворняга Ошиба, у которой в детстве попутали пол. Но самое главное богатство —

это дойная коза Манька — любимое, но настолько привередливое животное, что стоило всех вышеперечисленных. И именно к ней, и ни к кому больше, дед Алексей вставал так рано. Он был ещё крепким и вместе с тем плаксивым, прозванным в деревне за доброту свою «Кумом сердца». Каждое утро он нёс ей в литровой кружке квасной воды, проще — стакан кваса, разбавленного полулитром чуть тёплой воды. Манька так любила это пойло, что если дед хотя бы чуть опаздывал, поднимала такой крик, которым быстро будила всех обитателей двора.

— Ну, что, кургузая, засохла?! На-на вот, промочи горло-то. — Коза, аккуратно вытянув губы, за три, а то и за два раза выпивала воду, кося чёрными глазами и вздрагивая всем телом от дедовых рук. Потом он обязательно наклонялся и трогал растопыренные, почти полные соски её вымени.

— Ну, скопи, скопи ещё чуток. Сейчас всех подкормлю, а потом тебя подою. — Манька понимающе хлопала большими, как крылышки бабочки ресницами, и, действительно, ждала его ещё час. Затем, управившись, он выдаивал её и выводил за огород к берёзовым колкам на сладкое и пахучее разнотравье.

Сегодня, сделав всё как всегда, он сидел на тёплом уже крыльце, прихлебывая чай со смородиновым листом, и беседовал с Ошибой:

— Я чё думаю, собака, — наклонившись к самой собачьей морде, вещал дед, — надо ещё сена подкосить для Маньки. По моим приметам, длинная жара в июне — зима будет суровая! И чтобы тепло было нашей кормилице, надо корма больше. Так что собирайся, поехали колки окашивать. Ещё стожок надо насобирать. Тогда, точно, перезимуем спокойно.

Ошибка засуетилась, закружилась, быстро виляя хвостом, явно показывая, что уже готова.

— Да-да! — дед улыбался, глядя на неё, — голому собраться — только подпоясаться.

Сам он наполнил пластиковую бутылку квасом, переобулся из тапок в добротные кроссовки (подарок младшего сына) и, взяв литовку, пошёл к гаражу, здесь у него хранился его кормилец — мотороллер-«муравей». Был он старый и, если считать, что у техники год эксплуатации приравнивается к трём человеческим, было ему примерно столько же, сколько и деду. Купил его дед давно, когда еще «молод» был, то есть лет тридцать назад. Технику он любил, следил за нею постоянно и «муравей» был опрятным и надёжным. Как и всегда, старик выкатил его из гаража, проверил заправку и, сложив всё в кузовок и прикрыв лезвие косы тряпкой, скомандовал собаке: — Ошибка, место! — Ошибка метнулась с места, легко заскочила в кузов и выжидаяще припала мордой на лапы. — Молодец!

Дед крутанул рукой кикстартер, чуть погазовал, сел в седло и тронулся: — С Богом!

Он, не спеша, ехал за огороды в лес, наверное, в миллионный раз за свою большую жизнь, но, как и всегда, в душе поднималась волна радости и восхищения всем, что видел и слышал. Дед гордился тем, что и он причастен к победе в войне, следовательно, и к этой жизни, которая теперь. Пенсия хорошая, работы мало, отдыхай — не хочу... Вот только бабка... Дед погрустнел, но быстро собрался и порулил по дороге к лесу. Навстречу ему, неизвестно откуда, появилась новенькая машина
ДПС.

Остановившись посреди дороги, она вдруг замигала ярко-синими огнями, а из динамика раздался громкий, каркающий голос: «Водитель транспортного средства, возьмите вправо и остановитесь!»

Дед растерянно завилжал по дороге и, пока нашёл рычаг тормоза, заехал метров на десять в поле. Наконец остановился и, заглушив мотороллер, заспешил навстречу милиционеру. Но Ошибка опередила его и уже облаяла этого пахнущего машиной и ботиночной кирзой человека.

— Дед, убери собаку, а то шлёпну и скажу, что натравлял. — ДПСник явно попёр в карьер. Дед суетливо поймал собаку и, стараясь утихомирить, стал что-то шептать ей на ухо и даже строжиться. Наконец, привязав её к кузовку, он подошёл к милиционеру. Тот вскинул ладонь к виску и быстро представился: «Богданов Дмитрий, лейтенант ДПС. участка. и т.д.»

Дед машинально тоже вскинул руку и, как мог чётче, ответил:

— Алексей Безуглов, пенсионер, бывший рядовой Шестой мотострелковой дивизии имени Лаврентия Палыча Берия. Еду на вверенном мне мотороллере на покос с собакой беспородной породы по кличке Ошибка. Всё!

В глазах мента забегали нехорошие огоньки:

— Хохмишь, дед?

— Никак нет! — находясь в каком-то трансе, по-армейски, брякнул дед.

— Хорошо. А теперь давай документы на технику и водительское удостоверение. И пойдём-ка, дунешь в трубку, а то, может, самогона хряпнул и прёшь на свои покосы, дороги не видя. — Он пошёл к машине, а дед — следом, спотыкаясь и торопливо объясняя, как он думал, понятнее, ситуацию с сегодняшним выездом.

— А документы сначала были, но за давностью лет куда-то самоликвидировались. Сейчас уже точно не найдёшь — сколь воды утекло за тридцать годов. Мы с бабкой даже горели немного, лет двадцать назад. — И дед стал рассказывать: — Растопил печку осенью, в октябре, думал на ночь маленько хату обогреть. Спичку — чик, а от неё сера горящая отлетела — и на фуфайку мою рабочую. А фуфайки раньше были ватные, стёганные. Но я ничего не заметил, печку растопил, а фуфайка осталась на полу. Сам-то в вечер — за сеном с кумом, стаскивали сено на огород. Тут, на грех, ко мне сосед поддатый прётся. Смотрит, дым валит из окошек, он и

обалдел. В общем, за пять минут он один из моей хаты всё через окна повыкидывал — всё!!! Телевизор, радиолу очень хорошую, как щас помню. Только с холодильником вышла у него заминка. Он его до середины выпихал, а тот, возьми да мотором зацепись, и — заклинил. Уж сосед его и так и эдак — не может, хоть плачь. Потом, когда вспомнил, что двери есть, уже обратно затащить не смог. Угорел, говорит, от волнения. Плюнул он и сам на улицу выскочил. Дыму наглотался, матерится и, гад, героем себя выставляет! Народу собралось много, а огня-то нет!.. Зашли в дом, а там на ведре из-под пойла коровьего, фуфайка мирно додымливает. Сквозняк дым из дома унёс, и предсталась картина полного разгрома, какой он учинил. Бабка моя домой пришлёпала, так её чуть инфаркт не хватил. Ну, а я, когда приехал с покоса, хотел соседа самолично казнить, но не нашёл его, хотя всё его подворье обыскал. А он в это время, хитрюга, у меня в погребе отсиживался.

Моя бабка, поняв, что я с ним сделаю, туда его определила по доброте своей сердечной. И ещё бутылку самогонки дала для сугреву ему. Во как! Ну, а потом я успокоился, и даже про пользу понял. Он ведь, всё когда выбрасывал, всё и поугроблял, поэтому пришлось всё новое покупать. Вот в чём резон! Так просто я бы ведь не собрался никогда. Всё было этого старья жалко, а теперь у меня вот уже почти двадцать лет всё новое. Бытовая техника дома новая. Потому-то мы с соседом-то и помирились потом. И сейчас ещё нет-нет, да и посидим вечерок.

Мент Дима с улыбкой слушал деда и что-то писал. Ведь он, наверное, был парень неплохой. Но сегодня ему на стажировку дали совсем юного курсанта, и он хотел показать ему, как надо себя вести с нарушителями. Как назло, дед был сегодня первым, который сразу нарушил всё.

— Вообще, дед, дела обстоят так. Прав у тебя нет, но это ерунда. Главное, что транспортное средство у

тебя без документов, а это уже серьёзно. Сейчас мой стажёр сядет на твой аппарат и угонит его на штраф-стоянку. А ты, когда найдёшь документы, приедешь в город и, заплатив штраф, а это минимум две с половиной тысячи рублей, заберёшь свою технику. Если не сделаешь это быстро, то через три дня, согласно закона, начнут капать проценты за нахождение твоей колесницы под охраной милиции. И очень быстро эта сумма превратится в... — Дима некрасиво ощерился, зачем-то подняв указательный палец, — что тебе совсем не выгодно будет забирать свой мотороллер.

У деда подкосились ноги. Где-то понимая, что ничего не сможет сделать, он всё-таки надеялся на снисхождение к себе, к своей старости, возможно, к заслугам или просто из жалости от этого молодого, полного сил представителя закона.

— Не надо, пожалуйста! Где же я возьму документы, товарищи милиционеры? Нету их. А без техники мне нельзя. На чём же я Маньке сено буду возить или дровишки какие? Поймите. Не смогу я у нового нашего председателя трактор выпросить, а заплатить — денег не хватит. Нельзя нам без техники, господа. — Дед сел около колеса мотороллера, и из глаз его покатались слезы. Не понимая его горя, Ошибка радостно виляла хвостом, с удовольствием облизывала солёное лицо, уворачиваясь от его рук, пытающихся её отпихнуть.

— Кончай, дед, забирай собаку и шлёпай домой! Я всё сказал. Вас таких сейчас много. То старый, то пьяный, то ещё какой. Летаете, обалдевшие, того и гляди народ давить начнёте. А я вот поставлен, чтобы защищать людей от такого вот беспредела. Понял, дед? Защищать!!! И, пока я имею власть и силу, я буду защищать... — Мент даже поперхнулся от своей тирады и явно чувствовал себя каким-то спасителем мира, этаким «Бэтменом» в форме ДПС. Они отвязали собаку, сидящую на коленях у старика, стажёр завел надёжную дедову технику и уехал.

— Вот, на, подпиши! — Дима подсунул старику бумагу, дед машинально подписал.

— Ждём тебя скоро в милиции! Понял?

Посвистывая, он сел в машину, завёл и, резко прогудев, поднимая клубы пыли, поехал вслед за мотороллером.

А в десяти метрах от дороги, около косы и бутылки кваса, держа на руках собаку и плача в её шерсть, остался дед — бывший рядовой Шестой мотострелковой дивизии имени Лаврентия Павловича Берия.

2013 г.

Поводырь

Он родился без крика. Родился на десять дней позднее срока, вымотав мать свою и фельдшера, худого, как кость, желчного Петра Ивановича. Новорождённый болтал ногами и руками, как положено, но не орал, и фельдшер, хлопнув его для верности по синему заду, заключил: «Наверное, немой». Мать его весёлая, бойкая и гулящая Нинка, одинокая, но решившаяся родить для себя, не убоившись своих сорока пяти, пересохшими губами сказала: «Дай сюда и закрой хлебало, фельдшер».

Петр Иванович, нисколько не обидевшись, подал завёрнутое в простыню дитё матери на грудь, вышел в пустую приёмную и устало выпил полстакана спирта. Затем заел надкушенным пирогом и, неумело перекрестившись, заученно изрёк: «Слава Богу!»

А в деревенской «операционной» на животе матери лежал большеголовый пацан и молча сосал большую, полную молока грудь.

Прошло пять лет. У деревенского магазина к стоявшим женщинам быстро подошла ещё одна и сходу спросила:

— Моего не видели? — бабы, переглядываясь друг с другом, отрицательно замотали головами. А поскольку были они с разных концов деревни, то Нинка (это была

она), поняв что её любимое чадо опять в деревне искать бесполезно, побежала в сторону реки.

Её мальчишка, которого она назвала Пашкой, рос и креп быстро. И хотя голова заметно не вписывалась в привычные пропорции по отношению к телу, было в этом ребёнке что-то звериное, красивое. В год он уже правильно и резво ходил, если не сказать, бегал, крепко цеплял ещё, казалось, совсем слабыми руками всё, что нравилось. В два — был полновластным хозяином Нин-киной избы, двора и всех сараек.

Вся живность на дворе, начиная с крикливых кур, коровы Дойки и кончая огромной овчаркой Вербой, приняла его в свой мир. Сначала он вдруг перестал есть с аппетитом. А когда Нинка однажды пошла вечером доить корову, то от увиденного чуть не упала в обморок. Пашка сидел на коленях под коровой и, закрыв глаза, спокойно сосал молоко. Корова стояла и мирно пережёвывала жвачку, наверно, считая, что так и надо.

Последив за ним месяц, она рассказывала своей подруге-соседке, взяв с той слово молчать:

— Представляешь, Галя, встала я за дверь, стою, а он вошёл и — к куриному гнезду. Корову-то я утром угнала в стадо пастись, и выпить молока, стало быть, негде. Так он подошёл, курицу снял, взял из гнезда два яйца, курицу — на место. Хоть верь, хоть нет, она голоса не подала. Потом «хлоп» — легонько яйцо об угол гнезда, дырочку расковырял и выпил! Потом второе также. Скорлупу раздавил и в таз с пшеницей бросил — куры склюют! Потом в огород направился, там огурцов поел, помидору недозрелую нашёл — тоже съел. И всё спокойно, по-хозяйски, здраво. А я смотрю и не знаю, что делать от растерянности. Но смотрю. Маленько он походил, нужду справил по маленькому, видать, уморился. И что думаешь? Дак он подошёл, Вербу взял за цепь и тянет. Та из конуры вышла, а он «хоп» — и туда. Там же дырка большая, вижу: улёгся, руки под голову, а собака залезла туда и лижет ему

лицо. Минут через пять выбралась и легла возле входа. А он спит! Я постояла и подошла, думаю, домой заберу его, а то подмёрзнет. Но Верба ни в какую! Встала, ошетибилась, цепь натянула и рычит на меня. В общем, испугалась и оставила. И так изо дня в день повторяется. Но только вечером обязательно домой приходит и ложится спать ко мне. В грудь уткнётся, укусит пару раз потихоньку и засыпает до утра, как мужик. А ведь ему еще трёх нет.

Нинка замолчала и, глядя на Гальку, тихо плакала. Та плакала за компанию. Потом, взяв ещё раз слово молчать, Нина убежала домой.

* * *

Постепенно Нина привыкла к такому поведению сына. И его уживчивость с животными, неустанная пытливость, недетская самостоятельность уже не удивляли. Лишь одно пугало мать: он молчал. Всегда. Когда исполнилось четыре — возила в город, в большую больницу. Живя в стационаре при больнице, за три дня обошли всех врачей, сдали все анализы — всё никак. Главный врач, разведя руками, сказал: «Он здоров. Даже очень для своих лет. И кроме чуть увеличенной головы отклонений никаких. Но почему он молчит, не знаю, — и серьёзно глядя Нине в глаза, закончил, — время придёт, заговорит».

Пашка же настолько освоился в больнице, что безошибочно выводил мать из любых тупиков. Стоило ей сказать, мол, приведи меня к той-то тётеньке или к тому-то дяденьке-врачу, как он, взяв мать за руку, маршировал по переходам и коридорам и, когда уже Нинка приходила в отчаянье, подводил её к заветной двери. Она была в шоке от поступков сына, но никому ничего больше не говорила.

Круг его интересов расширялся. Он уже досконально знал довольно большую их деревню и свободно ориентировался в лесу, примыкавшем к ней. Нинке

было трудно его удерживать, тем более летом, и приходилось подолгу уговаривать далеко не ходить.

Сегодня, придя с работы, она поняла, что сына дома нет давно. Со стороны леса его никто не видел, поэтому она побежала к реке.

Боже мой! Как родила его, так спокойно только и пожила в первый год. Люди удивлялись: не орёт, спит целыми днями. Оголодает — замычит, поест — спит. И, когда становилось страшно и она его специально била прутиком по крепкому розовому заду, то он, не понимая за что секут, начинал, как казалось без охоты, плакать. Опять же неожиданно громко и со слезами. Нинка, удовлетворённая, прекращала экзекуцию и уже через минуту он засыпал, вытянув полусогнутые ноги и по-мужицки раскидав руки со сжатыми кулаками. А мать, уже пожалев, что потревожила его, целовала всего, плача от радости.

Но, когда начал ходить — покой пропал. Она была почти уверена, что прошла за ним за эти пять лет столько же, сколько за всю жизнь до его рождения. Нинка взошла на невысокое взгорье и внизу увидела стадо деревенских коров, растянувшееся длинной цепью, вдоль самого берега реки. А чуть выше — тряпочный навес и, наверное, Гошку-пастуха. И недалеко от него своего сына, которого узнала бы и с пяти километров.

* * *

Увидев спускающуюся Нинку, Гошка соскочил и, улыбаясь, пошёл навстречу.

— Нинок, дай мне сына в помощники, нарадоваться на него не могу. Он у тебя ни устали не знает, ни продыху! И коровы, веришь нет, от него не убегают. Ни разу за всё лето я так спокойно день не проводил! — Нина молча прошла мимо пастуха, подошла к Пашке и заголосила:

— Ты что это, сорванец, творишь? Просила же тебя не убежать далеко! Ты опять!.. Смерти моей хочешь?.. Я ведь

забегалась уже с тобой, продыху нет нисколько... — Она села, неудобно поджав ноги, и заплакала.

Улыбка на Пашкином лице постепенно переросла в выражение непонимания и обиды. Но мать этого не видела и, продолжала плакать. Он подошёл к ней, обнял её склонённую голову и, беспомощно глядя по сторонам, вдруг гортанно, как из бочки, произнёс:

— Не плачь, мама!

Нинка от удивления чуть не упала в обморок. Гошка же, хлопая себя по бокам, изумлялся: «Вот так немой! Как срезал — не плачь...» — и хохотал.

Девяностые годы XX века снова испытывали Россию. Испытывали её людей, дав им свободу на веру и благоразумие. К этой свободе очень многие были просто не готовы. И вместе с эйфорией возник хаос. Ведь свобода для русского — это повод. Повод оправдать всё. А хаос — повод делать всё, оправдываясь свободой.

Нет смысла рассуждать о том, что получилось из всего этого. В крепком (во времена союза) совхозе, где жили Нинка с сыном, всё развалилось. От огромного стада коров осталось тридцать, дающих работу трём скотникам и двум дояркам, да шестнадцать коров частных, которых Гошка и пас с помощником своим Пашкой.

Пашке уже десять лет. Из худого, большеголового пацана он за эти годы превратился в крепкого, жилистого подростка.

Работа, которую многие называли бы скучной и монотонной, очень ему нравилась.

Уже на следующее лето он гонял стадо туда, куда оно никогда не заходило из-за природной ленивости пастуха. Причём гонял бегом, азартно хлопая небольшим бичом, сплетённым Гошкой.

Скот, включая глупый молодняк, постоянно пытающийся разбежаться, подчинялся ему беспрекословно.

За деревней на реке, ближе к густому лесу, трава была богатая, почти не кошена, поэтому коровы быстро увеличили надои, а быки — вес. Пастуха Гошку хвалили, Гошка хвалил Пашку. Пашка молчал и наслаждался вольной жизнью.

Сегодня к Гошке приехал из города брат с сыном, почти Пашкиным ровесником. Брат решил заняться фермерством и, заодно, привёз сына познакомиться с деревней.

Пашка спал на спине любимца своего, огромного быка Буяна, мирно щиплющего траву, когда его позвал Гошка.

— Вот, помощник тебе и друг. Звать Вовка, мой племяш. Помоги ему обжиться, научи тому, что сам знаешь, а то он человек городской, слабый...

Пашка соскочил с быка, легко подошёл и по-взрослому подал руку невысокому белобрысому пацану, державшему руки в карманах джинсовой куртки. Пашка, сказал за него Гошка.

— Вовка, — тонким голосом отозвался Вовка.

— Ну, вот и познакомились. Давайте, вперёд, — пастух подтолкнул обоих к стаду.

...Вовка с трудом открыл глаза.

— Фу, слава Богу, дома.

Вчера, они с корешем познакомились в ночном клубе с девчонками и, похоже, в процессе знакомства он перебрал. Четвёртый год института давался ему довольно легко, поэтому времени свободного было достаточно. Отец, видя, что он хорошо учится, щедро помогал деньгами. Сам он занимался фермерством без образования, по наитию, нередко ошибаясь в прогнозе и поэтому хотел, чтобы сын, будучи наследником, был грамотным.

Квартира, деньги, репетиторы — всё! Только учись...

Запел телефон. Вчерашнюю знакомую он узнал сразу:

— Ну что, сибирский ковбой, помнишь, что вчера обещал, нет? Поедем посмотреть твою деревню? — начала она в карьер.

Аня ему вчера очень понравилась. Тонкая, с пышными подкрашенными волосами, с красивыми яркими губами и огромными голубыми глазами. Она совершенно просто общалась, весело смеялась, показывая ровные зубы, и Вовка подумал, что она здесь ищет парня на вечер. Но она, послушав трёп Вовки, в двенадцать часов собралась и ушла домой, мотивируя уход тем, что родители строгие. Вовка, психанув за «пустой вечер», допил пиво и злой ушёл домой.

— Нет, нет, не забыл. Конечно, поехали. Да и с мамой тебя познакомлю, и с папой. В общем, подъезжай к четверем к автовокзалу, — Вовка отключился, посмотрел на часы и закрыл глаза...

— Представляешь, автобус отменили, говорят, к вечеру усиление снега! — Вовка растерянно смотрел на Аню.

— Ну, не судьба, проводи домой. В следующий раз съездим, — она посмотрела и улыбнулась.

— Послушай, а поехали на попутках по трассе. А там — шесть километров за полчаса пройдем. Дорога подмёрзла, хоть боком катись. Я другу позвоню, он нас встретит. Если бы не снег, можно было бы и на машине, но застрянем, а пешком быстро дойдём, — он взял Аню за руку и она, секунду подумав, согласилась.

За город выехали быстро и уже в пять часов ехали на попутке по трассе до просёлочного поворота на деревню.

Пашка растопил баню. Он очень любил париться по пятницам. Никто не мог с ним в этом тягаться, даже взрослые мужики. Баню он растопил пораньше, топил её, непрерывно следя за огнем. Вначале на помыв шла

мать, одна или с подругами, а после, ближе к ночи, протопив парилку до тепла от брёвен, до калёного жара от гладких голышей, положенных горой на печи, — он. Вытянув ноги, Пашка смотрел в открытую печь и, как обычно, замороженный огнём, думал. Всё чаще думал он о женщине. Большое сильное тело всё настойчивее возмущалось одиночеством. Он глушил нарастающую смуту работой, постоянной, часто тяжёлой и не стеснялся браться за всё, начиная с заготовки дров и заканчивая сбором ягоды и шишек. Потом топил баню и парился до одури лёгкими душистыми берёзовыми или тяжёлыми пихтовыми, по желанию, вениками.

В кармане вдруг пискнул пейджер, подарок Вовки. Пашка аккуратно достал аппарат, ткнул кнопки и с трудом прочёл: «Встреть в 18:00 на дороге, Вовка». Вот дела!

Зашёл домой. Мать печёт пироги. Время из красивой бабы сделало аккуратную, чистую старушку. Пашка с любовью посмотрел на мать, и когда она подняла глаза, сказал: «Последи за баней. Я скоро», — и вышел.

На улице сумерки. Постояв секунды, Пашка зашёл в сенки, одел легкую дутую куртку, опять же Вовкин подарок, спортивную шапочку и, плотно закрыв двери, вышел на улицу. Пронизывающий холод заставил ускорить шаги, а вскоре и побежать через деревню в сторону трассы.

Вовка с Аней вышли из тёплой машины и, свернув на просёлок, пошли в сторону темнеющего вдаль леса. Вовка с сомнением посмотрел на полосы снега, надутые через дорогу. Против ожидания, ветер оказался невыносимо холодным. Пройдя метров триста, Вовка оглянулся и увидел, что следы от ног быстро заполняются белой крупой. Но впереди дорога достаточно чётко серела выпуклостью и, начавший сомневаться, Вовка взял Аню за руку и упрямо пошёл вперёд.

Пашка подбежал, когда они отошли уже с километр.

— Вовка, пойдём обратно на трассу, пока видно дорогу, — он говорил и смотрел на девушку. Она прижималась к Вовке и явно мёрзла в своих джинсах и курточке.

— Не дрейфь, Пахан, идти осталось полчаса.

— Вовка, сейчас буран начнётся, пойдём обратно.

Ветер, как будто подслушав Пашку, вдруг с силой ударил стоящих кучкой людей, сразу спрятав их в темноте и пронзив холодом.

Аня громко заплакала, и у Пашки вырвалось:

— Всё, поздно!

— Что поздно, Паша? Пойдём куда-нибудь, — Вовка растерянно закрывал лицо руками, отворачиваясь от ветра.

— А то поздно! — Пашка кричал от злости, — пока до трассы доползём, она встанет в перемётах до утра. А утром дорожники найдут на трассе три мёрзлых трупа!

Аня еще громче заревела. Пашка склонился к Ане:

— Не разевай рот, продует. Пойдём в деревню. Не пропадём...

Он взял её за руку и пошёл вперед. Вовка, согнувшись, шёл последним.

Ветер взбесился. Если сначала Пашка ногами нащупывал твёрдость дороги, то теперь всё было плотно и ровно. К тому же из-за стены снега нельзя было даже посмотреть вперед: снег выдавливал глаза.

Девушка уже не шла, а висела на руке. И Вовка плёлся сзади и цеплялся за неё. Снег был везде. Казалось, он залез в самую крохотную дырочку в одежде и теперь, подтаяв, жёг его тело нестерпимым холодом.

Куртки с карманами, набитыми снегом, отяжелели. Ноги застыли и не чувствовали ничего, кроме нестерпимой ломоты. Пашка подтянул Аню, вытряс ещё раз из капюшона снег, опять надел его ей на голову и, сняв с себя шерстяные перчатки, натянул поверх её тонень

ких. Она смотрела на него, не в силах ни говорить, ни плакать. Вовка стоял в снегу на коленях, опустив голову и спрятав ладоши скрещённых рук под мышками. Спаси, брат! — Вовка плакал.

— Спасу! — криком прервал гул ветра Пашка, — только встать надо. Встать, не садиться, — и он снова тащил их в пургу, — всё, не могу...

Пашка вдруг уткнулся во что-то твёрдое. Не отпуская Аню, свободной рукой пошарил и понял, что это стог сена. Дикая радость оживила ослабленные мышцы, и Пашка, отпустив девушку, стал рвать слежалую траву, выкапывая в стогу лаз. От усилий он согрелся и, прекратив работу, подобрался к Вовке. Тот уже лежал на боку и что-то бормотал. Пашка схватил его и, подняв, потащил к дыре в стогу. Затем то же самое проделал с Аней. И уже, не глядя на них, стал снова рвать сено. Минут через двадцать он, распаренный, заволок их в дыру, забил вход и на ошупь стал раздевать. Сначала девушку: снял застывшую куртку, перчатки, шапку. Она слабо скулила и шептала, что больно ноги. Сняв с себя свитер, он стал шерстью поочередно тереть ей руки, лицо. Когда она закричала в голос, снял с неё сапоги и то же проделал с ногами. Устав от её крика, взяв за голову, прижал к себе. Холодное лицо уткнулось ему в грудь и она вдруг, схватив его в обнимку, заговорила быстро: «Спасибо, тёплый, спасибо... » Пашка, ещё крепче обняв девушку, подержал её минуту в объятиях, а затем, оторвав от себя и укрыв своей курткой, взялся за Вовку. Тот орал не тише, а громче Ани, кричал, чтобы Пашка его не трогал и даже лягался в темноту. Пашка нащупал его голову и жёстко ладонью ударил по лицу. Вовка откинулся и в голос заплакал. Пашка доделал начатое и тоже укрыл вжавшееся в сено тело друга. Самому ему было жарко. В носу першило от пыли и запаха травы, но на сердце была песня.

Час назад они чуть не погибли, но судьба спасла их, спасла и разрешила жить. Господи, как хорошо просто жить, ходить, спать, смотреть, рвать ягоды, разговари

вать с матерью... Пашка сжал зубы, боясь заплакать. Нет, они молодцы!!!

Его друзья спали. Как же так: середина ноября, холода ещё даже не было, и вдруг? Это настоящий февральский «тяжёлый» буран. Буран, который в феврале дует неделю и заваливает снегом всех, кто устал с ним бороться, кто остановился, присел отдохнуть. А весной, в апреле вытаивают из-под снега сначала белые, погрызенные зверьками трупы, которых в народе называют «подснежники». Вытаивают и через три дня чернеют, теряя сходство с человеком. Или набежавшие из тайги волки, находят их в снежных полях и сгрызают до косточки. Но то февраль, а здесь ноябрь, который обычно в радость лёгким морозцем и чистыми, без ветра, днями...

Аня потихоньку заснула, что-то шепча. Пашка, успокаивая, протянул руку и, найдя её голову, стал гладить. Она вдруг схватила его руку и стала целовать мокрыми губами, повторяя: Спаси, спаси!

— Аня, всё нормально, мы не умрём, — чувство гордости и радости распирало.

— А руки? — она плакала, — ломит, значит отморозила! Если найдут нас поздно, врачи уже не помогут, и всё облезет. И представляешь, какая я буду красавица? Однажды я видела обмороженного — страх!

И она плакала ещё сильнее и громче.

Пашка растерялся. Правда. Ну, если взять его, облезли бы руки — делов-то! Правда, потом они красные и болят на холоде, но ничего, зато жив!

Она вдруг замолчала.

Если лицо и руки облазить начнут — повешусь!

— Ты дура? Как это? А зачем тогда сидишь тут, лучше вылезь да замерзай...

От растерянности и обиды он не знал, что сказать. Она зашелестела курткой и замолчала. Вовка тоже молчал. Пашка протянул руку и нащупав её ногу, взял

за пятку и вытянул на себя. Ладонями обхватил её, нога показалась холодной. «Может, я просто горячий?» Он потёр ногу, Аня заойкала. То же — с рукой. «Вот блин, наверное, точно подморозила». Пашка вздохнул и задумался: «Маленький тёмный мирок, довольно тёплый теперь, способный приютить и согреть, с шуршащими мышками, сразу стал неуютен. Ведь она, совсем молодая и очень милая, выйдет отсюда дня через два с потемневшим, будто обгорелым лицом, с корявыми руками, со сползающей кожей, и что? Интересно, если сегодня дойду, врачи ей помогут? Наверное, да. Медицина сейчас хорошая!»

Он нащупал руками свитер, натянул. С трудом согнувшись, надел бахилы, взял свою куртку, наощупь нашёл шапочку.

Девушка повернула к нему лицо:

— Паша, ты куда?

— За врачами, — громко, по слогам произнёс он и, расковыряв сено, вылез на улицу.

Снег ударил по лицу неожиданно больно. Пригнувшись и прикрывшись рукой, Пашка вдохнул полной грудью морозный воздух. Холод сразу полез за шиворот и под лёгкую шапку.

«Так, буран ударил сразу с юго-запада, в правую сторону от лица. Поэтому, если идти, чтобы ветер дул в правый глаз, приду в деревню».

Он с сомнением подержался рукой за сено и, отравившись, шагнул вперёд, в холодную кашу. Ветер был такой силы, что по ровному полю сдувал снег с земли, и идти было довольно легко. Однако в переметах приходилось лезть метр-два по жесткому насту, проваливаясь руками и ногами в сугроб, падать с небольшой горки и опять идти почти по голой земле.

Казалось, что на нём нет одежды. Ветер насквозь пробивал пуховик, отдирав его от тела и в промежутки

напрессовывал снег. Снег, в свою очередь, от теплоты тела таял и стекал в штаны и ниже, в бахилы, приклеивая ледяную одежду к коже. Напрягая все мышцы, с закрытыми глазами, лицом на ветер, Пашка медленно подвигался в сторону деревни. Когда ловил себя на ощущении, что от снега уже не чувствует боли, останавливался, падал на колени и растирал лицо до тепла, затем снова вставал и шёл на ветер.

Время встало. Казалось, что так было всегда, и ужаснее всего то, что изменений в ближайшие часы не предвидится. Он сел в снег. Пытаясь растереть лицо, он почувствовал вдруг тепло, плавно растекающееся по телу. Господи, слава тебе! Он трогал ледяную корку на шапке, но подо льдом было жарко. Сразу захотелось спать, и мышцы, расслабляясь, удобно укладывали тело в снежную ямку. Пашка до христа зевнул и, как в детстве, пытаясь до боли вдохнуть запах матери перед сном, промороженным носом учуял дым. Сна как не бывало. Запах дыма разбудил инстинкт жизни, по телу прошёл озноб, возвращая боль. «Ну, нет!», — он рывком вырвал себя из тепла и пошёл на этот запах, сладкий и волшебным манящий.

«Это деревня!» При таком ветре запах одной трубы он бы не учуял. Пашка шёл, пытаясь иногда посмотреть из-под залепленного лба, и вдруг увидел светящиеся глаза! Волки! Страх иголками прошёл по позвоночнику, шевельнув немного сердце. Но он даже обрадовался. «Пускай сожрут, хоть не валяться в поле», — и упорно продолжал путь. Подняв глаза в очередной раз, понял, что это светятся окна деревни. Его деревни. «Какие волки осенью, Паша? — смеялся кто-то за спиной, — это твой шанс, ползи!» — и Пашка полз. У дома со светом в окнах, не став искать вход, он перевалился через забор, подполз к окну. В сенках, запертая от бурана, залаяла собака, и Пашка, подтянувшись, ударил в окно рукой, и, потеряв последние силы, упал в снег.

«Что же ты это, Паша, как юнец? Задул зюйд-вест, а ты и рад в снегу валяться?» Пашка открыл высеченные снегом слезящиеся глаза и, наконец, увидел и узнал деревенского мужика Станислава Родного, бывшего моряка по кличке «Барометр». Появился он в деревне неизвестно откуда, незадолго до рождения Пашки, прижился, женился на молодой вдове, муж которой, по иронии судьбы, по пьяни утонул осенью в мелком озере на охоте. Бывший морячок, резкий, весёлый и ухватистый, стал помаленьку браконьерить, не наглея, но и не отдавая своего. Зажили крепко, родили дочку, которая уже довольно взрослая, жила с ними, не торопясь выходить замуж. Станиславу своё имя не нравилось, и он сам потихоньку приучил людей называть его «Барометром», дескать, «главная штука на судне...»

Пашка напрягся и поднял голову.

— Ты, Пашка, лежи, лежи... Я всё, что надо, сделал. Одежду с тебя посдирал, хоть ты и рычал медведем. Полностью тебя обновил, как при Крещении, протёр сухой шерстью, смочил самогоном и скажу так! Руки ты, конечно, поизгадил. Крепко обморозил. Щёки, уши, нос — немного, мелочи. С ногами тоже проблема — пальцы вздулись, лечить надо будет. А вот всё остальное, скажу тебе, Паша, у тебя целёхонько и в очень прекрасном состоянии. Бабы мои — одна покраснела, как рак, от скромности, другая позеленела, как огурец, от зависти! Чую, Паша, бабы тебя любить будут, как кошки! А ты им скажи, что это я твоё добро спас, самогона литр не пожалел.

И онохотал залиvisto, слушая возмущение женщин.

Барометр налил полстакана самогона и, поднеся к лицу Пашки, быстро заговорил:

— Вот, выпей и спи! Я к матери твоей схожу и все расскажу. После ветра — в больницу.

Пашка привстал через силу, оперевшись на локти.

— Дядя Слава, там Вовка Малютин в стогу, в стороне от просёлочной, и Аня с ним. Я их в стог закопал. Ехать надо за ними. Пусть дядя Витя «Бураны» заводит, — и он обессиленно упал на подушку.

— Понял, понял, Паша, — Барометр сорвался, на ходу влезая в шубу, и, обернувшись на шушукающихся женщин, вдруг погрозил пальцем, — я вам! Разгалде-лись, чайки! — вылетел в дверь.

До Нового года осталось двое суток. Пашка открыл глаза и по привычке сощурившись, посмотрел на часы под ночником. Семь утра. День начинается, торопя людей делать дела, ведь зимой время летит незаметно. Ноябрьский буран принёс ему много проблем. Когда отец Вовки, дядя Витя, расспросив все о месте, где спрятан сын, улетел в ночь на быстром «Буране», прибежала Пашкина мать со старшей подругой тётёй Фросей. Мать завывала в голос, не зная, за что взять Пашку, скрипящего зубами от боли, а тётя Фрося, спокойно осмотрев его раны, предложила: «Давай его ко мне. Думаю, к Новому году поставлю на ноги». Замотав его одеялами, с трудом вынесли через входные двери, обругав Барометра за узкие косяки, на что тот огрызнулся: «Мы смотали на него все одеяла. Чего вы хотите?» Однако к тётё Фросе его всё же кое-как затолкали. У Фросиной двери проём оказался ещё уже. Уже изрядно «датый» Барометр ехидно подначивал, обращаясь к ней, как «Милый Фро-сия-шаман».

Вовку и Аню нашли через час и уже через три часа на снегоходе увезли в городскую больницу...

Для Пашки начались больничные дни. И, хотя тётя Фрося поила его настойками, от которых он спал по двадцать часов, как медведь-ленивец, когда делали перевязки и все прочие операции, он терпел без всяких обезболивающих лекарств. После примочек и раз

ных «волшебных» мазей для обмороженных рук и ног стали отслаиваться гнилые куски мяса, оставляя после себя ярко-красную бугристую плоть без кожи. Эти места старуха смачивала вкусно пахнущей водичкой, а затем мазала чем-то. Через две недели руки и ноги стали чистыми, словно на них надели новые красные резиновые перчатки и такие же носки. Теперь тётя Фрося наворачивала на ноги ему мягкие портянки, смазанные опять же самодельным настоем. Затем заставляла надевать легкие лапти и больше лежать, задрав ноги выше головы на спинку кровати. То же делалось с руками. Раны же на лице зажили совсем быстро, оставив лишь маленькие розовые ямки. Вовку отец после больницы отправил куда-то на курорт, лечить подстуженные лёгкие, и мать говорила, что до весны его не будет. Про Аню вообще ни слуху, ни духу. Но почему-то иногда по ночам он видел её, стоящую за ночником у стены, смотревшую на него. «Спасибо тебе», — говорила она тихо и показывала чистые руки. Он аккуратно брал их в свои и легонько целовал, задыхаясь от аромата каких-то душистых цветов... Он просыпался с болью во всем теле, разрываемом от желания... В середине декабря Пашка уже стал ходить сам, без костылей. Новая шкура нарастала очень медленно, хотя бабка говорила, что к лету все будет хорошо. Руки тоже работали нормально, только мёрзли даже дома. В общем, перед Новым годом, он от тёти Фроси перешёл к себе домой. Отослав мать, чтобы не привлекать внимание, сам аккуратно прошёл по тёмным улицам деревни, а местные собаки, узнав в этом странном пешеходе Пашку, собрали за ним целую свору, шумевшую и тявкающую на все голоса. Они явно удивлялись, почему он так тихо ходит и вразной спрашивали его об этом. Радостный и вспотевший Пашка, придя домой, раздевшись и вдохнув своего родного воздуха, понял — жизнь продолжается!

Сегодня мать собралась в город.

— Мы, Пашенька, с бабками до рынка, гостинцев прикупить на праздник. В вечер и вернёмся, — Нина, удивительно бодрая, говорила ему, не надеясь на ответ.

Просто нужно было понять, что он слушает, и можно быть спокойной.

— Автобус в 8:30 — мы всё успеем. День сегодня хороший, чистый, солнечный. Тебе скучно не будет.

Она, одетая, посмотрела на него, мелко перекрестила издали и, вздохнув, вышла. Пашка через окно видел, как они, тёмные на снегу, как галки, стайкой пошли на остановку. Постоял минуту, немного разминая плечи, и пошёл умываться. Когда освежённый водой по пояс, расчёсываясь перед старым тёмным зеркалом, сзади кто-то тихо окликнул: «Паша».

Сердце остановилось на взлёте, а когда он обернулся и увидел Аню, забило с шумом камнепада.

Она стояла лёгкая, в голубенькой курточке, голубенькой же шапочке, и смотрела на него голубыми чистыми глазами, лаская сердце и наполняя теплом душу.

Вдруг, быстро расстегнув одежду и скинув её на пол, подошла к нему, протягивая чистые красивые руки. Ничего не видя, он упал на колени, взял эти руки в свои и целовал их, пахнущие неизвестными ему ароматными цветами. Она обнимала его голову и целовала волосы, повторяя тихо:

— Милый спаситель, сильный и смелый.

Не сознавая себя, он поднял её, лёгкую, как облако, и, пронеся по дому, положил на свою кровать. Неуклюжими пальцами, задыхаясь, пытался расстегнуть рубашку на её теплой груди, а она, целуя его и смотря прямо в глаза, сама сделала всё это. И ему помогла снять всё, и, обвинив ногами, повисла на нём, словно став его половиной. Тихонько застонав и закрыв глаза, прошептала:

— Именно так, милый.

Мир для них превратился в не испытанное никогда ранее счастье. Она обняла его за шею и, прижимая к себе, без остановки шептала: «Мой... мой... мой...» А он, не любивший говорить, не переставая целовал её лицо и глаза, самые желанные в этом мире...

— Я приду потом, милый. — Сказала она на прощанье. — Потом, когда проснутся реки, когда уйдут утренние холодные дожди, смыв остатки снега в тайге, а солнце разбудит её жителей! Я приду, и счастью нашему не будет конца, милый. Я, как ласточка, зимую в другой стране, но прилечу к тебе с теплом...

Пашка отошёл от двери, подавленный болью расставания, а она, поцеловав его сжатые губы, выпорхнула в дверь... Всё. Он отрешённо оглядел комнату, взял со стола маленький телефон с одним номером и надписью «Аня». Маленькая коробочка пластика, в которую спрятались его большое сердце и чистая душа.

31 декабря к ним пришёл отец Вовки — дядя Витя. Поставив на стол большую бутылку водки и пакет продуктов, скинул шубу и по-хозяйски хлопнул руками.

— Вот что, Паша! Чего греха таить, ты спас моего сына и его невесту, — Пашка вздрогнул и в упор посмотрел на гостя. — Спас почти ценой своей жизни. Я понимаю, что мой щенок этого не ценит, но я всё решил. За мытарства твои и за боль из-за детей моих, решил я сладить тебе дом. Настоящий, рубленный из добротного кедра. Думаю, за зиму братья Пушовы сложат его, стропила поставят, крышу перекроют, а весной сладят окна и двери. Фундамент подольём, печку выложим и к следующей зиме — готово! Женись и живи своим хозяйством. Всё беру на себя, все траты. От тебя только пожелания маленько, как хочешь, чтобы дом выглядел — и всё!

Дядя Витя по-отечески обнял Пашку:

— Доволен?

Что ж ты, Паша, молчишь? Ответь. Что как неживой?
— суетилась Нина.

Она радостно выпила с дядей Витей водку, угостила его печёным гусем и проводила до калитки. Зайдя домой, увидела склонённую голову Пашки.

— Что же ты, сын, как бука, чужой? Пашка, подняв голову, медленно ответил:

— Люблю я её, мать! Люблю и никому не отдам. Только она станет моей женой. Она или никто!

Да кто же, сын?

— Невеста моего друга Вовки — Аня! — Пашка отвернулся к стене.

Увидев глаза сына, Нина схватилась за голову и, как о беде, запричитала.

Так они и встретили Новый год. А в 00:10 позвонила Аня: «С Новым годом, милый! Поводырь!» — и положила трубку.

Весна в этот раз пришла неожиданно. Сначала в марте с крыш потянулись сосульки с висящими подолгу капельками, как бы думающими, упасть или ещё повисеть. Где-то в тени — не капали, вытягиваясь в ледяные морковки до земли, а где на солнце потеплее, отчаянно плакали, набивая под стеной ледяные шары. А в апреле вдруг за одну ночь снег разом потяжелел и осел, проломив крыши сараек у нерадивых хозяев. Откуда ни возьмись, из-под снега повылазили верхушки заборов, обозначив палисадники и дороги. Набитые за зиму тропинки стали ловушками. Пожилые бабули, постоянно шныряющие по соседкам, старики, гуляющие «до кума на опохмел», на время исчезли с белых ещё, но уже мокрых улиц. И только неугомная ребятня, отчаянная и лёгкая, накатывала огромных снежных баб: грудастых, с палочными ртами и угольными глазами, которые уже через сутки оседали в бесформенные кучи.

Дед Угловой, живший ближе всех к тайге, в конце деревни, и которому было уже лет сто, тоже выполз на солнце. Встал, расшиперив для устойчивости ноги, расстегнул «революционную» свою шубу, снял шапку с запарившей вдруг лохматой головы. Подняв лицо к солнцу и широко перекрестясь, старик поприветствовал светило: «А вот и слава Богу, Ярило!» — и заулыбался, показывая три своих табачных зуба.

Пашкин дом за январь-февраль вырос на расчищенном огромном материнском огороде. В марте перекрыли крышу и отложили дело до тепла. Холодное зимою дерево теплело теперь на солнце и, поскрипывая, плотно усаживалось в пазы. Пашка радовался. Вместе с ним радовались, как казалось, все местные воробьи, которые тоже строили себе жильё. Только строили они его, щипая паклю из пазов Пашкиного дома, вызывая тем его справедливый гнев. Поэтому сейчас он подолгу находился на дому, пробивая крепкой железной битой швы, запрессовывая туда паклю и сразу промазывая их самодельной сосновой олифой. Теперь уже воробьи, внимательно наблюдая за ним с разных сторон, недовольно и звонко чирикали.

Пашка выздоравливал и ждал Аню. Она иногда звонила, и эти звонки поднимали ему настроение, как пьяная брага скучающим зимой мужикам. Она говорила, что учится и совсем не забывает о нём. И пока Пашка усиленно раздумывал, что сказать, слышалось: «Пока, милый поводырь», — и связь обрывалась. Потом, как-то незаметно, слово милый стало выпадать из разговора, но Пашка, не избалованный вниманием, значения этому не придавал.

А на другой улице, ближе к реке, вырос ещё один новый дом. Его построил тоже дядя Витя, но теперь уже для Вовки, и этот дом ждал хозяина. Вовка должен приехать к 1 мая. Его ждали родители. Об этом шушукались

бабки, и только Пашка ничего не знал. Мать, как могла, скрывала от него это известие, опасаясь за него. Часто по вечерам она, чуя беду сердцем матери, подолгу стояла на коленях в «святом углу» своего старого дома. И Николай Чудотворец в миллионный раз после причащения себя к лику святых слушал исповедь простой русской бабы о своей трудной жизни. Господи, да конечно, кому же, как не ему, знать о горестях и трудностях, кому, как не ему, помочь в благодарность за веру и свечи, мерцающие в церквях? Он поможет, он успокоит, он всевидящ и всеведущ. Ну, а если не поможет, так вон вас сколько — не доглядел. Прости, Господи!

Она истово набив лоб об пол и поистерев колени, кряхтя, поднималась и, опираясь о стену, целовала угодника. Зажигала сантиметровый кусочек свечи в алюминиевой подставочке и чуть успокоенная шла спать.

Вовка приехал 30 апреля. По-хозяйски обошёл дом, повключал везде свет и потрогал тёплую печь.

— Аня приедет завтра. Расписываемся 13 мая, после праздников. Жить, пока я доучиваюсь, будем в городе. Потом переедем сюда. Здесь она и рожать будет, надеюсь, — Вовка посмотрел на отца и тот, улыбаясь, обнял его.

— Как я люблю тебя, сын. Как счастлив, что у вас всё хорошо! Давай. Надо начинать дела, поднимать деревню, возможно, совхоз. Здесь денег — Клондайк. Нужно только правильно всё организовать. Поможешь, сын? — и они пожали друг другу руки. — И к Пашке сходи, ты в долгу перед ним. Он тебя спас.

Вовка пошёл. Пашка, конечно же, был на доме, он уже почти заканчивал внутреннюю конопатку. Пакля висела только в последней дальней комнате, которая должна быть спальней. Увидев Вовку, Пашка соскочил с козел, и они радостно обнялись. Поговорили немного. Вовка пригласил друга назавтра в гости. Он почему-то

не смог сказать другу о свадьбе, какая-то сила сдерживала его. И, думая, что ситуация не та, он решил сказать это завтра, за рюмкой.

— Приду. — Только и сказал Пашка.

Назавтра, встав, он решил идти сразу.

«Скажу ему всё, он поймет, девчонок же в городе много. Может он Аню уже и не любит? Может, у него какая другая есть?» — Пашка шёл неторопливо, думая, как начать разговор.

Последний апрельский день родился крепким. 10 утра, а солнце уже разносит настоящее тепло по улице. Грязь уже почти подсохла, лишь в ямках заметно парило от влаги. Разогретые солнцем, куры уже пытаются найти пыль, чтобы, забив её между перьев, почесать, встряхиваясь, накусанную за зиму блохами шкуру. Ошалелый петух после зимней постоянной темноты не может разглядеть себе клушу, с которой подружит с первой. В конце концов погнался за самой ближней. Собаки, обалдевшие от нахлынувших запахов, уже не лают, как зимой, с подвыванием, а вытянув хвосты, носятся, радостные, по деревне и дальше, у дымящегося паром леса.

Барометр, беззлобно матерясь, таскал из-за дома наколотый кусками стылый снег.

— Привет, Паша! А я вот снег таскаю, а то он за домом до осени у меня пролежит. Намело его нынче гору. А мне это надо? Сколько земли будет пропадать, — и он, склонив голову, шёл со своей лопатой за дом.

В общем, деревня, уставшая от зимы, торопилась стереть с себя её последние приметы. Пашка издали залюбовался Вовкиным домом, сделанным из чистых, чуть жёлтых стволов, специально подобранных по толщине. Высокая тёмная крыша и чётко выделяющиеся окна очень красиво гармонировали с цветом самих пропитанных лаком брёвен. Высокое крыльцо по всей стене со стороны входа с чуть резными перилами и широкая входная дверь приглашали войти. Пашка

подошёл к крыльцу и, взявшись за перила, громко позвал:

— Хозяин!

Через минуту послышались лёгкие шаги, дверь открылась и в неё выскочила Аня в тонкой коротенькой шёлковой ночнушке. Она, без смущения улыбнувшись, поприветствовала негромко: «Здравствуй, родной». Затем повернулась на солнце и потянулась, оголив красивые ровные бёдра. У Пашки перехватило дыхание, он схватился от неожиданности за перила. За Аней почти сразу вышел Вовка, приобнял её сзади за талию и, глядя живот, сообщил:

— В общем, Паша, 13 мая мы с Аней женимся. Она вчера вечером приехала и дала мне окончательное согласие, — Вовка поцеловал её в шею, — мы очень ждём тебя на нашей свадьбе. Ты наш спасатель. Поводырь, как говорит Аня!

Пашка, не смея поднять глаз, повернулся, оторвав руку от перил, выдал из себя: «Хорошо...», — и, качаясь, пошёл домой. Мыслей не было. В голове упрямо звенело: «Почему? Почему? Почему? Как же так, ведь это же моё? Всё! Всё, что у неё на виду и больше, то, что скрыто в ней самой. Она же созналась, что только одни руки её касались — мои! И что губы её целовали только мои! И волосы, и тело — всё мое. Вовка, что же ты сделал с нею? Может, запугал?» — Пашка остановился, повернул было обратно, но нет. Она выглядела счастливой, да и он, Вовка, не такой. Неужели то, что перевернуло его душу и взволновало сердце, — ложь? Неужели то тепло, которое он чувствовал в её объятиях, — обман? Близость ставшего вдруг родным человека, угадывающего твои движения, сливающегося с твоим дыханием, — лукавство?

Обида и отчаяние захлестнули его. Захотелось, как в детстве, завывать. Завывать, не найдя спасения от боли. Или уткнуться в грудь матери и она, словно волшебной палочкой, снимет все боли и страхи. Но матери нет рядом, да и взрослый он уже.

Он зашёл в дом, оглядел его. Поднял упавшую битую, аккуратно положил на стол к инструментам, и, подумав, пошёл в дальнюю комнату. Здесь он хотел сделать спальню. Не слишком большую, тёплую и уютную. Окно ещё не было пропилено, просто не знал, где что будет стоять. Только здесь ещё торчала растрёпанная воробьями пакля. Он встал посреди тёмной комнаты и беспомощно оглядел её. «Зачем мне теперь всё это?», — боль с новой силой резанула по сердцу, от напряжения заломило скулы и, понимая, что сейчас заплачет, Пашка, прикрыв лицо руками, застонал.

Стон отозвался в стенах гулом и быстро затих. Дом, не мешая своему хозяину, молчал, поскрипывая боками. Пашка встал, подошел к стене и левой рукой провел по гладкому дереву, ощущая мягкость пакли. Правой — достал из кармана зажигалку и, поднеся к стене, щёлкнул кресалом. Китайская зажигалка без осечки выполнила своё дело. Яркий огонёк, прыгнув на паклю, в секунду взлетел по пушистой стене вверх, ударился в доски и сразу полез в щели не засыпанного ещё глиной потолка. Затем, хлопнув, влекомый тягой, устремился к дверному проёму, как в сказке, на секунду исчез, обнажив уже опаленные доски и, опять полосой устремился вниз, в проём.

Пропитанное олифой дерево занялось за минуту, поглотив все стены огнём. Пашка, пока видел проём, откуда тянуло жаром, но, присев от ударившего в лицо огня и вдохнув воздух от пола, поднявшись, уже не различал ничего — огонь не буран! Он шансов не даёт.

...Ну, вот и всё! И больше ничего не будет, больше ничего не сделаешь, ни о чём не подумаешь. Больше не нырнёшь утром в туман, вдыхая его, белый, как молоко, больше не зайдёшь на рассвете в лес, когда темнота вдруг пропадает с первым лучом солнца и миллионы тварей, ждавших с тобой этой минуты, начинают на все голоса радоваться началу дня! Больше не увидишь, как на лужайке подснежник смотрит на солнце, поворачивая

вая голову вслед ему, стараясь получше рассмотреть эту вечную звезду! Они все живут и радуются жизни, осознавая, что природа отвела им короткий век, несоизмеримый по сравнению с человеческим... И никто, ни одна тварь Божья не уйдёт с этой земли по собственной воле, понимая и любя время своего проживания на ней.

А ты хочешь плюнуть на всё и на всех, не сумев побороть простого глупого эгоизма? Пашке вдруг стало до слёз страшно и он, опомнившись, заметался по комнате.

На его счастье, пламя, съевшее, в первую очередь паклю, немного осело. Но огонь со всей комнаты тянул, как в водоворот, в дверной проём. Укрыться нечем, поэтому понятно, что он вспыхнет, как спичка, если побежит через дверь.

Воздух в комнате выгорел, поэтому пламя рвалось через потолок вверх, а в комнате жарко, но спокойно занялись стены. Пила!

Пашке в голову ударила спасительная мысль. Он стелил пол и под пол, именно в этой комнате спрятал свою бензопилу.

Ломая ногти, он поднял не прибитую половую плаху, затем вторую.

— Как жаль, что рубили почти с земли, не пролезешь под стенами! Но пила здесь. Господи, лишь бы бензина хватило...

Сняв с предохранителя, он резко дернул кикстар-тер. Нет! Ещё раз. Пила уверенно загудела, соперничая со страшным гулом огня. Пашка наклонился в дыру, вдохнул полной грудью воздух и, придавив пилу к стене, газанул. Острая цепь с хрустом вошла в дымящийся сруб. Быстро сделав два пропила по высоте двух бревен, Пашка отступив, ногой ударил между ними. Нет! Стены намертво сжались в пазах. Дышать уже невозможно. Он отступил и свесил голову под пол. Здесь ещё есть воздух, но жар раскалил одежду и тело. Ещё секунды, и всё на нем вспыхнет. Пашка едва поборол желание прыг

нуть под пол и прижаться к земле. Это — стопроцентная смерть. Пила стала фыркать. Испугавшись, он через силу вскочил и, сделав пропил по пазу, снова сильно ударил ногой. Чурки выпали из стены и Пашка, бросив пилу, обдираясь об горящее углы, выпал за ними и дымящийся откатился от стены. К нему кинулись люди, со всей деревни прибежавшие на пожар, а Барометр громко закричал: «Отбой! Хозяин здесь!»

Люди, секунды назад пытавшиеся затушить дикое пламя, с облегчением отошли от огня. Барометр окатил Пашку двумя ведрами воды и, смеясь, кричал, что у него теперь три дня рождения. Крытая железом крыша вдруг сложилась и провалилась внутрь, выбросив в небо сноп искр. Чёрный дым нарисовал в небе гриб, и через пять минут стены упали в разные стороны, пламя осело, и всё было кончено.

Мать стояла на коленях и, прижимая его опалённую голову, спрашивала, давась слезами:

— Ты это сам, Паша? Милый мой, сын, родной, дорогой...

Пашка кивнул, соглашаясь

— А и ладно! Ну и ладно! Мы теперь им ничего не должны. Правда? Наш же дом тоже хорош! И женишься на соседке Олечке. Она ведь когда ты обморозился, почти каждый день приходила, помогала мне, плакала...

И заревев ему в лицо, кричала:

— Дурак, я же тоже за тобой уйду. Я же всю жизнь тобой живу...

Пашка приподнялся и, прижав мать к груди, сипло успокоил:

— Всё хорошо! Не плачь, мама!

2012 г.

Пойдём жить!

Стояла тёплая осень 2003 года. Было утро субботнего дня, выходной, и все ещё валялись в постелях. Но Машка уже проснулась и, занырнув в кровать отца с матерью, разбудила их.

— Машенька, потише, пускай папа поспит, — Вера не могла ещё проснуться окончательно, поэтому лежала с закрытыми глазами.

— Поздно, папа уже не спит.

Владимир засунул руки под одеяло и начал щекотать дочь, а затем и жену. Все втянулись в игру с криком и хохотом...

Через час собрались за завтраком. Владимир потихоньку пил чай и смотрел на стол и своих женщин.

— Послушай, Вер, а у нас солонина есть? Почему мы все солёное или маринованное покупаем в магазине?

Вера подняла глаза и улыбнулась.

— Не знаю, так повелось.

— Что значит повелось? У меня же батя в деревне живёт и брат. Давай, езжай. Ещё не поздно, хотя бы капуста насолишь. Да и отдохнёшь. У отца пасека небольшая на покосе, озерцо красивое, лес кругом такой загадочный, что жуть просто... — Владимир закрыл глаза, качая головой и цокая языком.

Вера опять внимательно посмотрела на него.

— А Машу с собой?

— Да зачем? Дома оставишь с нянькой.

У Веры защемило под грудью. Опять эта нянька. Володя сам нанял дочери няньку на «неотложные дела», как он сам говорил. И Вера замечала, что он уж очень внимательно к ней относится. Пытаясь не показать обиды и улыбаясь сквозь слёзы, она согласилась. Владимир явно обрадовался.

— Завтра возьму тебе билет до райцентра. Там тебя батя встретит, позвоню, или братан Гришаня. А я послезавтра в командировку на неделю.

Он встал и поцеловал Веру в висок. «Для спокойствия сказал про командировку», — решила она.

Она ехала и думала. С Володей они уже шесть лет. Она любила и любит его, он, как ей казалось, тоже любил, но сейчас отношения явно угасли. Бизнес и постоянная спешка отдаляли его от них с Машей. Вера, когда это поняла, заговорила о работе, но Владимир запретил ей даже думать об этом.

— Ты — мать моего ребёнка. Находишь дома и воспитывай его, — и всё, как отрезал.

Вера старалась и, казалось, успевала всё, но однажды в их большом доме появилась Алёна — девятнадцатилетняя девушка, красивая и довольно амбициозная. Владимир опять, как отрезал:

Алёна будет жить у нас, помогать тебе во всём, она — сестра моего друга. Приехала сюда учиться, но куда хотела, не поступила. Хочет через год повторить.

И всё. И хотя ничего кардинально не изменилось, но в душу Вере закралось сомнение, прогнав привычные покой и радость...

Автобус тряхнуло, она опомнилась и огляделась. Подъезжали к райцентру. Где-то здесь её будет ждать Григорий — брат мужа. Она видела его шесть лет назад на свадьбе, совсем пацаном, юрким и смешным, с торчащими ушами и стрижкой «полубокс».

Вышла из автобуса — никого, взяла багаж, отошла — никого. Хотела уже звонить, но услышала голос, как ей показалось сначала, мужа, но, обернувшись, увидела высокого, белокурого красивого парня с голубыми глазами и с не очень толстыми волевыми губами.

— Привет, Вер! Что, не узнала? — он открыто улыбался полноватым ртом, — неужели сильно изменился?

Нет, если бы он её не узнал, она бы прошла мимо. Мужниного в нём было немного — только голос.

— Сильно. То есть совсем. Я тебя не узнала.

— Ну, ничего, — он уверенно взял её сумку, — ещё узнаешь. Маленько пройдем. Я машину оставил на задворках, вдруг здесь милиция, а прав ещё нет. А там по лесу пойдём, никого нет.

Шёл он с её тяжёлой сумкой, даже несколько не клонился.

Вера почти бежала, но всё равно безнадежно отставала.

— Гришенька, подожди, пожалуйста, я уже запыхалась, — ей было неудобно бежать в туфлях.

Он резко остановился и улыбнулся.

— Гришенька! А меня так никто не называл. Приятно! Но мы уже пришли, вот мой бумер, — и он показал на старую, но опрятную «Жигули»-копейку. — Живём с бате́й, с коровой, поросятами и пчёлами. Собака Верблюд, — посмотрел на удивленную Веру и пояснил, — неказистая какая-то, грудь и голова большие, а ноги маленькие, да на каждой ноге по шесть пальцев, вот и верблюд. Тракторёнок есть небольшой и вот машинка моя, — он ласково погладил руль и опять улыбнулся, — вот и прибыли.

Вера вышла из машины и от удивления присвистнула. Охватило ощущение, что попала в мир, в котором когда-то давным-давно была, и вот наконец вернулась.

К ним шёл отец, тоже улыбаясь и широко раскинув руки.

— Здравствуй, дочка! — приобнял и поцеловал, кольнув щетиной висок.

Вспомнила поцелуй мужа — похожи.

— А где внучка? Что же не обрадовали старика?

Он явно скромничал. Стариковского в этом пятидесятилетнем с небольшим мужчине не было ничего: те же русые и густые волосы, ясные голубые глаза и твердые губы, только щетина немного старила, хотя...

— Муж не разрешил взять, говорит: «Комары да мошки».

— Какие комары в октябре, Господи? Да, тут вам не там, ребёнок хоть бы подышал свободой, эх... — он махнул рукой, — ну, ладно, пойдёмте, я стол накрыл, перекусим с дороги, потом покажем тебе, Верочка, наше хозяйство. — Она вдруг поняла, что действительно голодна и с радостью пошла к большому опрятному дому.

За столом всё было вкусно и просто.

— Всё своё, со своего огорода, со своей пасеки и из своего леса. — Иван Алексеевич, он же отец Владимира, суетился по хозяйству, постоянно подкладывал или подливал всякие деликатесы и попутно успевал рассказывать про житьё-бытьё. Григорий ел молча, но глаза, как казалось Вере, прожигали её насквозь.

— Дак, Вера, сын позвонил, что ты приедешь капусту солить, так?

Так.

— Ну, знаешь, мы почти всю её посолили, осталось вилок десять, завтра научишься. А сегодня погуляйте с Григорием, он здесь рос с детства. Всё, что интересно, — расскажет. А у меня ещё дел много.

— Хорошо!

Первым делом они пошли на озеро, примыкавшее к огороду. Гриша, действительно, всё знал, интересно рассказывал и очень много показывал незнакомого этой пленнице «каменных джунглей», как он называл

город. Пока бродили, прошло довольно много времени, и Вера вспомнила, что должна позвонить мужу. Володя долго не брал трубку. Когда же взял, говорил невнятно и быстро. В трубке прослушивались музыка и шум.

— Да, всё нормально, скоро буду дома. Только не грузись, за дочку не волнуйся, делай дела и приезжай. Пока.

Она послушала гудок отбоя и стёрла с лица слезинку обиды, постоянно терзающей её после разговоров с мужем.

— Послушай, покажи мне, где спать, пожалуйста. Устала. Столько впечатлений...

Григорий с пониманием кивнул и проводил её домой.

Проснулась она поздно. И хотя спала беспокойно на новом месте, чувствовала себя очень хорошо. До хруста потянулась, легко поднялась и, ёжась от прохлады, накинув чей-то плащ, вышла на крыльцо. Солнце ещё не разогрело землю, но день явно будет тёплым. Она как-то обрадовалась тому, что не научилась понимать природу и решила загадать, каким будет день. Но, увидев идущего к ней через ограду Григория, застеснялась и юркнула за дверь, успев подумать: «Да просто хороший».

За завтраком Иван Алексеевич опять был внимателен. Григорий молчал.

— Давайте, доедайте. А ты, Гриша, покажи, как мы солим капусту, раз уж Вера ради этого приехала. Я повожусь с пчёлами. Их скоро на зиму надо определять. Освободитесь, приходите, поможете.

Он ушёл. В доме нависла тишина.

— А ты красивая. Я вечером подсматривал, когда ты спала. Очень красивая...

Вера от неожиданности покраснела.

— Не надо, Гриша, пойдём лучше. Практикуй.

Оказывается, капусту солили в большой бане. Сначала шинковали её или, как сказал Григорий, натирали в ванны, засыпали солью, перемешивали и, придавив гнѐтом, оставляли на 2-3 дня для усолки. Капуста солела и, давая рассол, «подкисала». А чтобы она не стала горькой, её в день по несколько раз протыкали деревянной острой палкой. Когда она достаточно усаливалась, её вѣдрами опускали в погреб, где вываливали в деревянные кадки, просыпая калиной, морошкой или брусникой, по вкусу. Опять же, придавливали гнѐтами.

И всё.

— Как, всё?! — Вера удивилась кажущейся простоте.

— Так, всё. И в погребе, в прохладе она стоит и ждѐт, когда её достанут, ополоснут чуть-чуть, добавят мелко нарезанного лука, сбрызнут маслом подсолнечным и... Вкусно! — выдохнул Григорий и, улыбаясь, облизнулся.

Вера стояла от него в метре и смотрела в его глаза, в которых блестели огоньки, смотрела на губы, застывшие в полуулыбке и даже не успела отвернуть лица, как они — эти губы — вдруг впились в её губы, а сильные, не по годам руки обхватили её, не давая ни одного шанса вырваться. Неожиданная волна нежности и желания, таившаяся в ней, в её зрелом, красивом теле, вырвалась на свободу, и она, не справляясь с этим соблазном, сдалась с радостью на полную милость победителю...

Потом она лежала горячая и обнажённая на полке в полузабытьи, обессиленная и благодарная, испытавшая и понявшая, что значит быть любимой и желанной. Он, стоял на коленях и склонившись над её телом, целовал его, ставшее в одночасье самым дорогим и любимым. И, не умея говорить нежности, только шептал еле слышно: «Люблю, люблю, люблю...»

День прошёл словно в забытьи. Они помогали отцу, разговаривали, работали, но как только встречались взглядами, вспыхивали и еле сдерживали себя от желания обнять друг друга и... Потом была ночь. Она вылезла через окно, как он научил её, и снова пришла в баню, где так незнакомо пахло квасившейся капустой и так соблазнительно — любовью взрослой женщины и безбашенного парня...

Проснувшись утром, она удивилась себе. Каждой мышцей, каждым сантиметром кожи она чувствовало его, Григория, ставшего вдруг таким родным и любимым, как никто прежде...

А в бане плакал отец перед стоящим против него сыном.

— Он же брат твой! Брат. Вы одной крови, одной матери, и что теперь? Что? Скажи мне, сучёнок... Отцу скажи...

— Я люблю её, отец. Я поеду в город и всё объясню Володе. Он её всё равно не любит, я ведь чувствую, батя. Чувствую... Не может любящая так поступить, я уверен.

— Ты же сопляк ещё. Тебе в армию скоро, Гришань. У тебя много будет их потом. Опомнись. А не то, не дай Бог, война между вами выйдет. Мне-то что делать?..

— Уймись, батя. Ты сына своего совсем не знаешь. Сегодня мы поедem в город. Не мешай.

И тут понял Иван, что это уже не пацан, которого он вчера качал на ноге, а мужик, сам обдумывающий и принимающий решения.

К обеду Григорий и Вера, по-городскому одетые, садились в машину. Иван смотрел и понимал, что противостоять или что-то изменить он не в силах: крепко завязывался узел непростых отношений неожиданно возникшего любовного треугольника. Чем-то всё это закончится?

— Господи, помоги! — прошептал он себе, а им крикнул, — я вас жду!

Города Григорий не знал совсем, чувствовал себя в нём скованно и дискомфортно. Вера город, напротив, знала и любила его суету, но сейчас шла в полной растерянности, механически. Ей было просто страшно. Впервые в жизни она совершала шаг, в необходимости которого не была уверена. Григорий, видя, как ей тяжело, втайне жалея и сочувствуя, молчал. С автовокзала до квартиры шли пешком.

— Вот наш дом, четвёртый этаж, квартира 11. Сейчас пять часов, муж ещё на работе. Дома, наверное, нянька с дочкой. Может, и их нет, если гуляют, — и, повернувшись к нему, со слезами заговорила быстро, — Гришенька, может не надо, а? Уезжай, может, скроем всё? А потом я ещё приеду или ты, Гриша.

Григорий вспыхнул, и подняв руку, остановил её.

— Я не вор. И бояться мне нечего, слышишь? А уйду, если только ты скажешь, что не любишь меня вовсе. А по-другому меня никто от тебя не оторвёт. Так ты любишь меня?

Вера смотрела на него и волны нежности и гордости накатывали в душу. Почувствовав его твёрдость, ответила благодарно:

— Люблю.

— Всё. Идём. Мы честно с тобой поступаем, поэтому он нас поймёт.

Он взял её за руку и решительно увлёл за собой.

Ключ у неё был. Григорий достал его из её сумки и без затруднений отпер дверь. Секунду постояв, как бы решаясь, Вера переступила порог. И тут же услышала громкий стон, доносившийся из дальней комнаты. В недоумении она прошла через всю квартиру к спальне и открыла стеклянную дверь. На их с мужем кровати лежала Алёна, нагая, но в ажурных чулках, и, постанывая, они занимались сексом с Володей. Они были так увлечены, что даже не заметили её, но Веру это совершенно не задело.

— Господи, да ведь он же давно уже чужой. Что меня с ним может связывать?

Она с облегчением закрыла дверь, взяла за руку стоявшего в коридоре Григория и повела его на кухню. Включила чайник, достала из холодильника колбасу, масло и начала делать бутерброды. Григорий поднял глаза и растеряно спросил:

Что?

— Пока пьём чай. Всё хорошо, любимый, теперь ты мой навсегда!

* * *

Через полчаса на кухню вбежала неглиже Алена, ойкнула и убежала обратно. Вскоре спокойно вошёл Владимир в длинном махровом халате — подарке Веры.

— Здравствуй, Верунчик! А что случилось? Почему рано так вернулась? А это кто? Ба! Да это братка! Привет, брателло!

Он быстро ходил по кухне, скороговоркой поздоровался с Григорием, протянув ему руку и даже хотел чмокнуть в щёку Веру, но та отстранилась. Он сел.

— Это совсем не то, что ты думаешь, родная. Я, это... — он не договорил, Вера перебила его.

— Мне насрать, что это. С этого момента это твоя личная жизнь. Мне сейчас интересно, где моя дочь — это раз, затем хочу знать, когда мы пойдём писать заявление о разводе — два, и три, чтобы уже быть совсем честной, я люблю другого.

Владимир нервно закурил.

— Дочка в интернате — раз, ничего писать не собираюсь — два, а про три — не понял.

— Я люблю другого! Какого другого? Где взяла?

— Вот он,— Вера показала на Григория. Тот встал и спокойно посмотрел на брата.

— Как? Когда успели-то? Он же сопляк, а? Да у него

и женилка ещё не отросла! — он засмеялся.

— Не бойся за меня, Володь. Всё, что надо, у меня есть и я, в отличие от тебя, люблю Веру.

— Кого ты любишь? Щенок, ты знаешь, на кого ты прёшь, а? — он встал и смотрел на Григория пристально, но тот глаз не опустил и казался совершенно спокойным.

Вера, зная мужа, заплакала.

— Выйди, дай мужикам поговорить, если так.

Но она подошла к Григорию и встав между братьями, со слезами стала просить мужа отпустить их.

— Ты же давно её любишь, я же знаю. Мы уйдем, а вы оставайтесь и живите счастливо, прошу...

Выйди, сказал. Мы поговорим с ним, и я решу.

— Выйди, Вера, не бойся. Мы сейчас обо всём договоримся.

Вера вышла. Два брата стояли друг против друга и молчали. Один — взрослый, знающий жизнь всякой, добившийся в ней многого и ничего не собирающийся уступать кому бы то ни было. Другой — молодой, ничего еще не имеющий, но встретивший то, ради чего готов пойти на многое, если не на всё...

— А ты прыткий! За три дня ишь чего добился. А я за ней год бегал, цветами заваливал... Любовь зла! — и он хорошо поставленным ударом ткнул Григория.

Тот рухнул, как подкошенный, повалив за собой стулья и потянув скатерть, которую мял пальцами. Вбежала Вера.

— Что? Смотри на своего героя. Куда ты с ним? Было бы хорошо, если бы у тебя что было, но фиг, ты же нищая! И дочь я тебе не отдам, чуешь? — он кричал всё громче, — ходила, корчила из себя честную, а как только муж отвернулся, сопляка соблазнила... Да ты... Шлюха...

Вера оглохла от обиды и крика, но, не обращая больше внимания на мужа, села на колени перед Григорием и, взяв его лицо в ладони, целовала, поливая

слезами.

Прошло полгода. Вера с Владимиром развелись, более или менее по-человечески. Перебесившись и поняв, что ничего поправить уже не может, Владимир уступил. Дочку отдал Вере, и они с Григорием уехали к отцу и поселились в его большом доме. Жили дружно. Те первые страстные дни не прошли даром: Вера была беременна, и это знакомое уже ей чувство зарождения в ней новой жизни наполняло её восторгом и благодарности к Григорию.

Ночами, лёжа у него на плече, она смотрела на его чёткий профиль и слушала его ровное дыхание. Она знала, что для неё отныне в этом мире нет роднее этого человека, которого знала год, но нет, кажется, всю жизнь.

Осень была холодной. У вагона толпился народ, раздавался смех: то весёлый, то наоборот — натянутый. Кто-то даже плакал. Молодой парень в выцветших джинсах держал на одной руке девочку, другой — обнимал провожающую его женщину.

— Верочка, успокойся, ты же сейчас должна за ребёнка больше переживать, чем за меня. Я отслужу — не заметишь — и приеду к вам весь в орденах, поверь!

Он прижимал её к себе, а девочка обнимала обоих и тоже плакала.

Рядом стоял отец, отрешённо улыбаясь, не зная, куда девать большие руки, и рассеянно повторял: «Да, да, да...»

— Вон, батя служил на корабле, три года плавал! А я что там? Два-то, поди, прохожу по суше!

Прозвучала команда, и Вера заплакала.

Григорий передал дочь отцу, мягко отстранил Веру, поцеловал её и пошёл в строй. Через пять минут поезд тронулся, заскрипел потихоньку, давая возможность

людям ещё раз посмотреть друг на друга.

— Милая, береги сына и дочь, жди меня, слышишь? Я приду, и жизни нашей не будет конца, а счастьем предела! Помни...

Поезд, набирая обороты, лязгая железом, понёс новобранцев навстречу неизведанному, понёс вдаль от матерей и отцов, от жён и любимых. А на перроне остались те, кто будет до последнего ждать и надеяться, что он — этот поезд — привезёт их обратно живыми и невредимыми.

Отец широким жестом перекрестил большую змею поезда и, подняв на руки Машеньку, громко, для всех провожающих сказал:

— Ну, пойдём, люди! Пойдём ждать и жить.

2009 г.

Война

Они жили втроём в старом большом отцовском и дедовом доме: братья — Пётр и Андрей, и четырёхлетний сын Андрея — Ванька.

Пётр, здоровый и сильный, двухметрового роста, с отцовским тяжёлым лицом и неожиданно светлыми глазами — инвалид Афганской войны.

За два месяца до дембеля снайпер попал ему разрывной пулей в левое плечо, и руку почти оторвало. Пока вызвали вертолёт, то да сё, в общем, выжил случайно одноруким и злым. Комиссовали.

Дома, в большой деревне под Новосибирском, жизнь как-то не заладилась. Сначала болел после ранения, потом стеснялся себя, а потом и привык жить с отцом и матерью, да с младшим братом Андреем. В конце 90-х забрали в армию Андрея. И попал он, как и Пётр, на войну, только не где-то там, а здесь, у себя, в России. И настолько всё это было страшно и непонятно простым людям, такую жуть показывали по телевидению, что заболела и умерла мать, а вскорости и отец. Перед смертью он попросил Петра не сообщать ничего Андрею, ведь тому и так тяжко — там, на войне.

Похоронив родителей, Пётр стал ждать брата, стараясь выжить в бедламе, в который вдруг превратилась окружающая действительность. Он выжил, не спился и не сдался трудностям. Вскоре вернулся со службы Андрей. Встретились, порадовавшись и погоревав,

попив неделю и, обойдя всех знакомых и родственников, братья стали жить вместе.

Жизнь постепенно налаживалась, и однажды Андрей привёл в дом хорошую, как показалось Петру, девушку, с которой познакомился в городе. Собрали родню, распи-сались, погуляли два дня и стали жить втроем. Через год у молодожёнов родился сын. Назвали его в честь деда Иваном. А через полгода исчезла вдруг Танька — жена Андрея. Уехала в город и не вернулась. В записке, оставленной под Ванькиной подушкой, просила не искать её. Написала, что не так хотела жить, что Андрея не любила, что устала от деревни до чёртиков и что, вообще всё... Андрей чуть с ума не сошёл, пил полмесяца и в пьяном угаре хотел застрелиться из бабиной двустволки. Пётр вовремя заметил и, хотя и однорукий, заломал брата и посадил его в погреб к «солонине». Андрей выл, как волк, ногтями копал подкоп, съел за три дня пять банок солонины, выматерил весь свой словарный запас, но, чтобы окончательно не загадил погреб, был выпущен под честное слово. Пётр стоял перед ним, высокий и красивый, единственной рукой прижимая к себе племянника.

— А про него ты забыл? Как же он будет жить-то без матери, да без отца? А? — Ванька прокурлыкал что-то по-своему и потянул руки к чумазому, обросшему в «темнице» бате, и заулыбался, пуская слюни из ещё беззубого рта. Андрюха взял его аккуратно и, полной грудью вдыхая родной прелый запах, поклялся не брать больше ни капли в рот этой гадости.

Всё снова встало на свои места. Братья работали, пацан рос, любимый обоими. Женщины в доме почти не появлялись, хотя мужики они были красивые и хозяй-ственные. Но Андрей так и не мог простить Танькиной измены, а Пётр никогда и не имел постоянной женщины. «А теперь и не надо,» — смеялся он.

Время шло. Ваньке исполнилось четыре года. Рос он пацаном шустрым и весёлым, не любил сидеть и вопросами замучивал и отца, и дядьку.

Однажды, в начале октября, засобирались за дровами.

— Ты, Андрюха, возьми с работы машину, поедem в лес. Мне лесник отвёл пять берёзок на покосе, давай свалим да вывезем. Да я с собой и ружьёцо возьму, может, кого и сохотим потихоньку, — он подмигнул Андрюхе и Ваньке, и все весело засмеялись.

В субботу Андрюха подъехал с утра на машине, загрузили пилу, взяли маленько перекусить — в основном для Ваньки. Пётр прихватил двустволку, и все втроем поехали.

— На покосе я выйду пораньше, зайду на барсучьи норы, — сказал Пётр, — ты же подъедешь, Ваньку оставь в машине и иди, свали деревья аккуратней. Как раз я подойду, вместе разделаем, закидаем чурки — да домой.

Так и поступили. Пётр вылез за полкилометра до покоса и с ружьём пошёл на барсучьи норы. Андрей выехал на лужайку, метрах в ста от деревьев, оставил Ваньку в машине, наказав не выходить, пока он сам за ним не подойдёт.

— На вот тебе пирог с вареньем, компот, дядя Петя наварил же, и смотри через окна на меня. Я буду валить вон те березы. Понял? — Ванька пообещал ждать отца и принялся за еду.

Андрюха взял свой старый, выдавший виды «Урал», подтянул цепь и, заправив бачок, пошёл к околку. Три из пяти отведённых деревьев были среднего возраста, их он свалил быстро. Четвёртое было огромно и разлаписто, как туча. Андрюха обошёл его, покумекал, как оно должно лечь, и, вздохнув, завёл пилу.

Как и положено, углубился со стороны завала на треть толщины, выдернул шину и, прогазовав, стал плавно запиливать с другой стороны.

Пётр шёл и улыбался лесу. Он даже был рад, что не пришлось ни в кого выстрелить, нёс ружьё на плече стволами вверх. Он слышал, как надсадно гудит Андрю-хин «Урал», и знал, что скоро услышит характерный

звук падающего ствола. Он вышел из-за околка и дикий ужас сковал его. Он увидел брата, наклонившегося над пилой у берёзы, но дальше, шагах в двадцати от Андрея, Пётр заметил Ваньку, спокойно стоявшего под клонившейся на него огромной кроной. Ещё десять секунд и огромное дерево разрубит и растопчет тело пацанёнка безлистными и острыми, как клыки, ветками.

Кричать бесполезно: Андрей не услышит его из-за визга пилы. Не раздумывая, Пётр мгновенно вскинул с плеча ружье, большим пальцем взвёл курок правого ствола и навскидку с вытянутой руки выстрелил в согнутую спину Андрея. Всё это заняло не более двух секунд. Андрей кулем через пилу упал лицом в траву. Ещё эхо выстрела не разнеслось по лесу, ещё только крупная дробь-двойка, разрывая одежду, вошла Андрею в спину, раскалывая позвоночник, а Пётр уже летел к Ваньке. Берёза ещё секунду постояла, внутри неё что-то оборвалось, и она с тяжёлым выдохом стала стремительно валиться. Но Пётр, как коршун, схватил Ваньку и успел пролететь ещё метров пять, прежде чем его накрыло самой макушкой дерева. Уууууххх! Когда он пришёл в себя, Ванька под ним дико орал.

— Всё нормально, Ваньчэк, не бойся! Всё нормально. — Он поднялся, ощупал всего Ваньку и, не обращая внимания на себя, побежал к Андрюхе. Опустившись на колени, перевернул брата лицом вверх.

— Брат!.. Прости, брат... Не умирай, прошу! Прости, брат.

На лицо Андрею лилась кровь из рассечённой головы Петра и стекала за воротник. Андрюха, вдруг, открыл глаза и внятно произнес:

— Ничего, брат. Я знаю — всё! Теперь ты ему отец. — И закатывая глаза, скороговоркой, запинаясь, добавил, — А я в Чечне в людей не стрелял. боялся. ослика только убил около блокпоста. С пятном на боку был ослик, — Андрей закашлялся, — а сына береги. — и замолчал, захлебнувшись кровавой пеной.

2005 г.

Дуэль

У Дарьи Ивановны Рошиной, семидесятидвухлетней пенсионерки, доброй и красивой бабки, певуньи и плясуньи, на седьмой день, аккуратно в воскресенье, умер муж. Умер не то чтобы неожиданно: был он намного старше её, а как-то нелепо, быстро и даже буднично. После утреннего чая пошёл в курятник, сделанный для тепла землянкой и, потянувшись за яйцом в самое дальнее гнездо, вдруг глухо ойкнул и, перекувыркнувшись через насест, упал на земляной пол, устланный соломой.

Когда «сама» спохватилась да пошла его искать, прошло с полчаса, потом пыталась приподнять большое тело и перевалить его через заборчик, разделяющий курятник, отчаявшись, побежала за соседями по пушистому осеннему снегу в тапочках, а когда прибежали, он уже вытянулся. Курицы, которых он любил в старости за простоту ухода и экономичность, уже кое-где засидели его помётом, лазая через тело, и забросали мусором, ковыряя солому в поисках зёрнышек. Соседские мужики, сидевшие дома в выходной, быстро выволокли его на улицу, и прибежавшая фельдшерица, потрогав горло и заглянув в глаза, спокойно объявила:

— Умер.

Напряжение, державшее Дарью Ивановну на ногах, вдруг исчезло и она, болтанувшись в сторону, легко упала на бок, откинув руку. Их обоих занесли в дом:

саму — в комнату, на кровать, и оставили с фельдшером, его — в горницу, на широкую лавку, отодвинув её подальше от печи...

Вот и всё! Кончился чей-то путь по длинной дороге жизни! Её, жизнь эту, мерил человек своими делами и поступками, мерил, упираясь, сжимая её до одного, последнего шага, который однажды сделает.

К обеду Дарья Ивановна, отлежавшись, вышла к покойнику. Муж её, Прон Акимыч, лежал уже чисто побритый и причёсанный, словно спокойно спал после бани, только почему-то не на мягкой кровати, а на неудобной лавке. Но, чего не бывает, может, чуть выпил после бани и сморило? Она подошла и, взяв его за руку, сразу почувствовала холод смерти. Кто-то подставил стул и старая Дарья села в головах вспомнить и проплакать всю жизнь, прожитую с этим человеком.

* * *

Она вышла за него, тридцатидвухлетнего красавца, приехавшего в их село откуда-то издалека в шестьдесят первом. Вышла молодой весёлой девушкой, пережившей две любви, две странных любви к двум друзьям — её односельчанам. Она их враз полюбила и так сильно одинаково, что не смогла разделить даже для себя. Тайком ходила в ночь с одним, а назавтра уже встречала рассвет с другим, когда первый был в полях на пашне.

Любила их одинаково сильно и по-настоящему преданно, страшась последствий, но не в силах отказать ни одному. Друзья, когда рассказали друг другу о любви, как оказалось, к одной девушке, не смогли простить ни её, ни друг друга. Пораздельно пошли в военкомат и осенью тысяча девятьсот шестидесятого ушли служить в армию, тогда ещё советскую, народную.

Даша, прогоревав зиму и не получив ответа на письма ни от одного, ни от другого, весной вышла замуж за взрослого агронома, приехавшего после института

поднимать село. Вышла не любя, но очарованная его силой и добротой. Ещё бы!!! Он был красивым и умным городским интеллигентом, сильным, с доброй душой. Совершенно не слушая деревенские сплетни, зиму он присматривался к ней, а весной, нарвав первых подснежников, сделал предложение. Она согласилась и, забегая вперёд, никогда в жизни не пожалела об этом. Ещё через год враз вернулись из армии бывшие друзья и, как бы соревнуясь между собой, в один месяц женились и устроились работать здесь же, в совхозе.

* * *

И потекла жизнь, как река: то тёплая, то холодная, то ласковая, то жестокая. И они, как опавшие листья, плыли по ней влекомыми течением, то расплываясь по сторонам, то сближаясь в небольших омутках. А ведь действительно. и у реки, как и у жизни, есть время, когда она становится плавной, спокойной и мудрой, как добрая бабушка, или заросшей в плёсах камышом, как старый дед! И она уходит потом, уходит-уходит! Пускай не в вечность, но тоже во что-то большее, почти необъяснимое... Но это потом! А пока молодой, некогда думать, что будет в далёкой и ещё совсем не известной старости — нет времени: надо строить дом, рожать детей, любить и быть любимым — то есть, жить!!!

Волею случая, совхозное начальство выделило участки под новостройки для молодых семей рядом, более того, по соседству. И получилось так, что первый дом по улице строит для семьи Вовка Удальцов, а за забором высится уже почти готовый пятистенок агронома Меркулова с молодой женой Дарьей, а за их забором дымит баня Сани Степнова, баня, замещающая пока дом, начатый дальше во дворе. Вот ведь как!!! Трое человек, любящие и ненавидящие друг друга, зажили бок о бок, постоянно видя один другого, видя, но не здороваясь и не разговаривая никогда.

— Здравствуй, Дара, — она вздрогнула и подняла к дверям глаза. Да, с человеком может произойти многое, но голос его узнаешь всегда. Она кивнула, и он подошёл к покойнику. Молча постоял несколько минут, сдерживая шумное дыхание и, наконец, добавив: «Сочувствую, крепись», — вышел.

Это был он, оставшийся для неё молодым, Вовка Удальцов. Это его, молодого, весёлого и буйного крепыша, она, совсем девчонка, полюбила до самозабвения. Ему первому позволила поцеловать себя и потом с ним узнала, что такое настоящая любовь. И, возможно, если бы не его характер, со временем родилась бы ещё одна хорошая семья. Но Вовка строго соответствовал своей фамилии. Был он слишком удал! Мог прийти к ней ночью и, уже целуя разгорячённое тело, вдруг, услышав далёкий крик «наших бьют», не раздумывая, умчаться на «защиту чести деревни». Для него всегда было важнее какое-то событие, где можно было подраться, поспорить и опять подраться, подраться, поспорить и договориться. Мог, не сказав, исчезнуть на несколько дней, совершая набеги на другие деревни, затем вдруг появиться неожиданно, весь битый и драный, несколько дней яростно любить её, клянясь и прося прощения, и... получив его, опять исчезнуть. Она плакала, прощала и опять плакала, любя и надеясь на лучшее.

Бабка вздрогнула, очнувшись от воспоминаний. «Господи, да о чём это я?» — она машинально поправила сползший со лба покойного венчик и прикрыла глаза.

...В одно из таких Вовкиных исчезновений появился Саня — скромный, тихий, не привлекающий к себе внимание, юноша. Однажды она, прождав всю ночь Вовку, утром, плача, пришла на озеро и увидела Саню, промышляющего утреннего карася. Попросила разрешения посмотреть и уже через час, увлечённая вдруг рыбалкой и разговором, забыла о своей боли. Потом,

по договорённости, встретились ещё, потом рыбачили снова, но вернулся из «захода» Вовка.

Через несколько дней она вдруг поняла, что думает о Саше и, как только появилась возможность, прибежала на озеро. Он был там и когда признался, что очень ждал её, приходя каждое утро и вечер сюда, сама поцеловала его. Поцеловала по-взрослому, с вызовом и отчаянием, а Сашка, сам не решавшийся на первый шаг, обнял её и держал, целуя и захлёбываясь словами о любви... Всё!!! С этого дня она, вдруг успокоенная одним, назавтра наслаждалась яростью второго, а через день-два снова упивалась юношеской нежностью и покоем первого. Это стало для неё, как наркотик, она уже не представляла себя без них, с каждым днём всё больше понимая возможную беду. Они же жили в одной деревне, были почти друзьями, просто Санька часто не успевал за Вовкой. Но всё равно, однажды, они рассказали друг-другу о любви к девушке. Когда выяснилось, что это одна и та же, Вовка, не сумев сдержаться, жестоко избил Саньку, совсем не сведущего в драках и не сумевшего себя защитить. Но тот пришедшему утром участковому Вовку не выдал, и соперник через неделю ушёл в армию. Дарья пыталась поговорить с Вовкой, но он её к себе не подпустил. Сашка, проявив характер, тоже с ней не стал объясняться и, отлежавшись, как и его бывший друг, ушёл в армию, благо время пришло. Дарья, сказав матери, что поехала поступать в институт, уехала в город, но через месяц вернулась похудевшая и потемневшая, устроилась на работу в деревенский клуб и стала жить, там — весёлая и активная, дома — грустная и одинокая. Но весной неожиданно сообщила матери, что выходит замуж. Та обрадованно перекрестилась: «Ну, слава Богу! А то я думала ты умом тронулась»!

. Сашка тоже приходил. Её она увидела неожиданно, стоявшим уже у гроба. Он смотрел на неё и, немного смутившись, что-то сказал, неслышно пошеве

лив губами. Она виновато вдруг улыбнулась и склонила голову...

Назавтра в полдень её мужа, с которым она прожила пятьдесят лет, похоронили.

— Пусть земля тебе будет пухом, а дела твои — памятью, достойной тебя!

Прошла белотелая зима!

И первое мартовское тепло, заставившее заплакать снежные крыши, обрадовало людей. Апрель нагрел воздух, осадив высокий снег наполовину в средних числах и растопив его почти совсем к последним дням. И скворцы не опоздали, и грачи, и ветки на деревьях вскоре отяжелели, и гвалт, и шум, и суета — всё вдруг скомкалось и повеселело, как и положено в жизни. Благоденствуйте, твари земные! Всё начинается сызнова!

Дед Вовка, а для неё просто Вовка, пришёл первым в конце апреля. Он собирался давно, но обходить по улице стеснялся, а через огород мешал снег. «Пойду, — думал он, — а следы останутся. И через день-два уже заговорят, мол, зимы не прошло, а к Дарье уже тропинка!»

И стараясь сохранить «чистым имя» очень пожилой уже женщины, старик глупо придумывал предлог. Потом, вспомнив, что уже полгода, как умер её муж, всё-таки пошёл, но попозже, по сумеркам.

Дарья сдержанно поздоровалась, хотя была рада.

— Ну, вот, считай, жизнь прошла, и теперь есть возможность поговорить, может, объясниться...

— А что объяснять? Вот, думаю, надо помянуть человека, всё-таки он не виноват, что это... — дед растерянно замолчал.

Она усмехнулась с пониманием: «Давай помянем...» Молча поставила на стол бутылку, собрала неожиданно много поеть.

«Готовилась!» — решил Вовка, и, налив немного в гранёный стакан, произнёс, — земля пухом тебе, Прон Акимыч, вечная память, — закинув голову, выпил, откусил сладковатый блин и сел, не глядя на хозяйку. Она тоже пригубила и, ни к чему не прикасаясь, смотрела на него.

Бесстрастное время, конечно же, стёрло из памяти почти всё. Но сейчас, глядя на почти старика, она видела именно того Вовку, молодого и сильного, каким он был пятьдесят лет назад.

И скорее всего, именно с ним её связывало что-то особенное, происходящее только раз в жизни, поэтому такое памятное и дорогое! Что это, неужели первая любовь? И настолько ли это важное чувство, если люди спокойно прожили без него целую жизнь? Она ощутила, как защипало вдруг глаза, а в груди садняще сдавило.

— А я ведь любила тебя, дурака, слышишь? Любила до умопомрачения, до боли, до бессилия! И, когда ты уходил в свои загулы, руки на себя наложить хотела, и было бы так, если бы не Саша... — Бабка запоздало замолчала.

Дед вскочил, грохнул кулаком по столу и прокричал:

— При чём тут Сашка? Мы мужа твоего поминаем! — и, собирая цветную дорожку, выскочил на улицу.

Дарья одиноко заплакала в рушник.

* * *

Сашка, дед Саня, пришёл на следующий день к обеду. Она его неосознанно ждала, заранее потихоньку собирая на стол и включив свет в тёмных сенях. Дед, аккуратно постучав, вошёл.

— Здравствуй, Даша... Я вот, запомнил, когда Проне полгода, но вчера уж не пошёл. Сегодня вот. — Он увидел собранный стол и растерянно топтался.

— Проходи, садись, Саша. Какая разница: вчера, сегодня. Слава Богу, не забыл.

— Да я бы раньше пришёл. Неудобно было без предложения, а ты сама не зовёшь.

— Ах да, с тобой же самой надо. Я запомнила, — она налила ему водку, себе — магазинного вина.

— Ну, давай ещё раз помянем мужа моего умершего... земля ему... — она выпила. Он — тоже.

Дед сел к столу и, взяв ложку, стал закусывать. Она налила ему ещё.

— Нет, извини, больше не буду, не к чему, давление давит. Да и по хозяйству хлопот много.

— А жена где же? — Дарья неожиданно сказала это с осуждением, мол, ты же не на гулянке.

— Жена уже одиннадцать лет, как умерла. Я один, сын в городе живёт давно.

— Извини. Я вспоминаю, действительно. Просто, старалась не касаться всего, что было связано с вами. Для меня это было очень не всё равно. Но теперь, я вот сама тебе говорю, приходи. Приходи по делу когда и. просто приходи. Не к чему обижаться. Уже возраст не тот. Да и теперь мы к Богу ближе, чем друг к другу...

Это прозвучало как «до свидания» и дед Саня, попрощавшись, вышел. В сенях она его догнала и, взяв за руку, добавила:

— Знаешь, у меня тоже дел старушечьих, которым мешают глаза посторонние, много. Поэтому, как можно будет просто прийти, я на бельевую верёвку буду простынь вешать, цветную. Или халат. А как не будет ничего на верёвке, дома будь, делами занимайся, — и она отпустила руку.

— Хорошо, — дед Саня улыбнулся и вышел. Через два дня деду Удальцову, зашедшему к ней по темноте «на огонёк», было наказано не приходиться, когда на верёвке висит бельё.

— Не досаждай, когда уборка у меня. Не нравится, что кто-то дома в это время.

Дед Вовка согласился, очень он не любил мокроты в доме.

Весна — время хлопотное и торопливое. А как не торопиться, если за короткий срок надо успеть много. В частности за май надо: почистить огороды, вскопать грядки, развязать и проредить смородину, малину, достать из погреба и перебрать картофель, окончательно приготовить и даже высадить рассаду и дальше, дальше... Это только касательно огорода, а хозяйство, у кого оно есть?! Оно, а это — куры, гуси, овцы, коровы, кролики — у кого что, начинает вдруг орать, мычать, гоготать и рваться на волю! Все истомились в закрытых сараях, все иссушались по солнцу. В общем, дел много, а у одиноких пожилых людей особенно.

* * *

Старая Дарья сидела в ночнушке на семейной кровати, распустив сильные ещё волосы по плечам. Как же так? Ведь прошло столько лет, произошло столько событий, испытано столько радости и горя. Никогда она не чувствовала себя одиноко, любила людей и дорожила их любовью. До самой пенсии работала в клубе, стараясь трудом своим скрасить быт сельчан. И уже, будучи на пенсии, поёт в местном самодеятельном хоре, делаясь опытом с молодыми. В общем, всю жизнь впереди и вдруг после смерти мужа ясно почувствовала себя одинокой. И неожиданно осознала, что чувство, которое испытывала она к мужу, было именно уважением, а не любовью!!!

И за всю жизнь ей хотелось летать только два раза! Первый — когда влюбилась в Вовку, второй — когда полюбила Саньку. Но эти два чувства слились в одно, ещё более желанное и восхитительно непредсказуемое!..

Тогда она заблудилась и чуть не погибла... Сейчас она окончательно поняла, насколько важны для неё эти два человека, совершенно разных, но настолько родных и близких, что разделить их и ныне она не в состоянии.

Нет, не проходит любовь, если это любовь. Не проходит, а затаивается до срока.

И назавтра накинёт она, старая грешница, цветное покрывало на верёвку, а послезавтра — снимет!!!

* * *

Сентябрьский вечер после тёплого дня казался сырым и неприветливым. Дед Удальцов сидел на любимой лавочке в кустах осыпающейся черёмухи и думал. А подумать было о чём. С самой весны он, как наивный пацан, ходил к Дарье, своей старой и, наверное, единственной любви. Он помогал ей по хозяйству, правил огромный, добротный, но рассыпающийся без хозяина сарай, рубил дрова своим небольшим колуном, сделанным специально под одну руку. Её собака уже радостно визжала на цепи, почуяв его, а кошка спокойно спала на его коленях. И уже не раз он просил её начать жить вместе, только всё слышал в ответ: «Подожди, ещё не время», — ничего не понимая. И эти, странные теперь, дни, когда она запирала ворота изнутри и просила его не приходить. Он бесился, но предполагал — может, муж покойный помянулся.

Ан, нет! Вчера вечером он вдруг заметил в заборе, разделяющим её с Санькой Степновым, за плотными кустами какой-то ягоды, калитку, аккуратную, выпиленную совсем недавно. Взбешённый, он влетел в дом и, хлестанув, как кистенём, правой рукой по столу, дико проорал:

— Опять?!

Дарья, всё поняв, склонила голову и села на лавку.

— Я спрашиваю тебя, опять он? И с каких пор или, уже совсем точнее, до каких пор, скажи! — он вдруг обессилено упал на стул и, задохнувшись, замолчал. Наступила мёртвая тишина, и только пытавшаяся, жужжа, пробить стекло последняя муха нарушала её.

— Да, опять он! Опять и всегда он. Ты сам так сделал, а я вас разорвать не могу, слишком это для меня

теперь важно. Нет, он нисколько не лучше тебя, но и не хуже, он — это он! Давай теперь до конца мириться с этим, вернее с тем, что я счастливее, любя вас обоих. Ведь я, даже боясь, сама себе завидую, насколько счастлива. Пойми, Вова. Саше я всё рассказала, и он понял...

— Что? Что ты сказала? Он понял? Это он тебя понял?! А меня ты поняла?.. Я всю жизнь к тебе топал, от меня жена с дочерью тридцать лет назад ушла, потому что я её всю совместную жизнь Дашей называл. И один потому, что без тебя мне одному лучше, чем с кем-нибудь. Я христианин и даже поэтому хочу быть с тобой только один, вернее, ты и я! — он поднялся и, широко ступая, выскочил на улицу. Дарья села за стол и, по-девчачьи уронив голову на руки, заплакала.

. Придя домой, он дико напился и только потому, что потерялся пьяный в пространстве, не пошёл к Сане. Очнувшись утром, через силу управился и, обмывшись, опять лёг спать.

Проснулся днём и, побрившись, пошёл в любимый черёмуховый сад думать. К вечеру он всё придумал и, дождавшись темноты, пошёл по Дарьиному двору и огороду, через потайную калитку, прямо к Саньке во двор.

Санька не удивился и не испугался, по крайней мере этого заметно не было.

— Руки не подаю, не пожмёшь...

— Правильно, не подавай — вырву с корнем.

Он оглядел кухню и, потрогав «магазинный» стул, плотно сел. У Саньки было на удивление чисто, как-то опрятно, по-хозяйски. Дед Вовка мысленно плюнул и, видимо, не зная, как начать, сказал:

— Сядь. Не тьми свет, вор!..

Санька сел через стол на тонко пискнувший стул и поднял лицо.

— Ещё раз выкнешь какую гадость про меня, табуретку не пожалею... Говори, что надо, и уходи.

Дед Вовка сглотнул слюну в пересохшем вдруг рту и продолжил:

— Значит, ты её любишь?

Да!

Давно?

— Всю жизнь!

Дед Вовка опять сглотнул слюну, непонятно откуда бравшуюся в пересохшем рту.

— А я тоже! И что нам теперь делать?

— Что и делали, жить. Я люблю и уважаю её, она достойна счастья за все беды, какие мы ей сделали!

— Что? Мы или ты сделал?

— Мы, мы. Вместе. Ты начал, я, дурак, закончил... Дед Вовка опёрся на стол и, потянувшись лицом к деду Сане, прошипел:

— Я люблю её всю жизнь, и если ты это называешь бедой, то я, я тебя.

Он с хрустом сжал добела кулак. Дед Саня тоже приподнялся и внятно повторил:

— Мы вместе сделали ей больно. Теперь, надеюсь, поможем дожить до конца спокойно и достойно.

Дед Вовка вдруг сел и, помолчав секунды, спросил деда Саню.

Ты трус?

— Не знаю, но тебя не боюсь. И твои фырканыя мне смешны. Я тоже прожил жизнь и, если не бился с тобой лбом, не значит, что ничего не видел.

Помолчали.

— Хорошо, извини. Но у меня к тебе очень серьёзное предложение, и немножко опасное. Прекрасно же понимаешь, что жить на троих, как хочешь ты, я не смогу. И ты не сможешь, не щерься. Поэтому предлагаю пари, спор, или как хочешь.

— Очень интересно, объясни.

— А что объяснять? Кидаем монетку. Чья сторона откроется, тот стреляет первый! — дед Вовка улыбался.

— Куда стреляет?

— Не куда, а в кого. В соперника. Я — в тебя, ведь ты мой соперник, ты — в меня, если что.

Дед Саня растерянно молчал.

— Не трусь. Ружьё у меня знатное, ещё отцово — единственный бескурковый одноствольный «Зауэр»... Шестнадцатый ствол, старый-престарый. Вот только два патрона магазинных. Это, чтобы без осечки. Один — с картечью «два ноля», другой — с жаканом, на лося или медведя. Поэтому патроны тоже разыграем, по-честному... Если выпадет тебе картечь, то я сто процентов труп. Там штук десять-двенадцать, как горошин пулек свинцовых — не промажешь. Если же пуля, то, конечно, попасть трудней, но та по силе эффективней и повезёт, угадаешь в тело — по швам весь лопну. Ну, а если я в тебя, то ты.

— Ты это правда, Вовка? Это же убийство. Потом же сидеть кому-то.

— Не боись, продумал. Уйдём на болото, выберем островок небольшой, бах, а труп в топь вместе с ружьём, и — баста. И Даша — одному, ну и счастье...

— Да не бывает такого счастья, Вовка, это же не полудски.

— Боишься, гад! А что лезешь со своей спокойной счастливой жизнью?... Боишься и всю жизнь боялся, пёс трусливый, — дед Вовка опустил на стул, обессиленный.

Дед Саня поднял голову и внимательно посмотрел на деда Вовку:

Давай, только когда?

— А чего тянуть? Давай завтра отдельно уйдём в тайгу. На падь. Там и дуэль! Ружьё я принесу сам. И не думай, стрелял последний раз из него лет двадцать пять назад, так что шансы равны. Патроны тоже принесу, какой кому — не знаю, опять шансы одинаковы. В общем, завтра выходи часа в четыре, к пяти — на месте, и к вечеру узнаем, кто достоин счастья.

Дед Вовка тяжело поднялся и, нагнув голову, вышел.

Дверь ударила сразу и в мозг, и в сердце.

— Как выстрел! — подумал Саня. — Ерунда какая-то.

Он держал охотничье ружьё один раз в жизни. Это был очень интересный случай, произошедший с ним в восьмидесятых годах прошлого века.

...В совхоз приехало какое-то областное начальство, и Саньку, как хорошего и понимающего водителя, отправили с ними на охоту. Километров за восемьдесят от совхоза в лесу стояла егерская заимка — добротный дом из выстоянного леса, ловко сложенная, как из сказки, красивая баня и тёсовые просторные сараи — всё, окруженное высоким плотным забором. Егерь, бородатый мужик или, скорее, дед с пониманием улыбался, глядя на хмельных толстопузых «охотников», и громко, густым голосом малоговорящего человека, приглашал всех в дом:

— Отдохнёте, вечером — банька, ну, а охота — завтра. Может, кого и перехитрим, — гудел он, с сомнением смотря на «больших» начальников, толпившихся около крыльца, хвалившихся друг перед другом импортными ружьями и патронами. Он-то понимал, что гораздо важнее дорогого ружья правильное поведение и настрой на охоте.

К вечеру, когда пришло время бани, оказалось что все охотники «расклеились», и егерь Иван Иволич предложил ему попариться.

— А что пару пропадать? Целый день топил, пойдём. И запах с себя смоешь поганый. Мне кажется, завтра вдвоём с тобой пойдём на охоту.

Уже в предбаннике, Санька понял, что баня серьёзная. Широкие лавки на толстых крепких ногах были сделаны из цельных двухметровых брёвен, распиленных пополам, отшлифованных тёрками. Полуслепая керосиновая лампа выхватывала белые вышарканные стены и сумеречные более тёмные углы, пробитые плотно

болотным мхом. Вешала для одежды были сделаны из красиво отделанных, разных по толщине и длине сучков. Дальняя стена вся завешана пучками трав, некоторые закрыты марлей, некоторые — просто. Раздеваясь, Иволич объяснил:

— Нам, главное, тело от вони очистить. Поздней осенью лес без летнего запаха. Только ели и сосны, да кедры пахнут слабо, но устойчиво. Поэтому париться будем берёзовыми вениками, они полегче, а на поддачу запарим ещё и еловых веточек... — Говоря, Иволич разделся и повернулся к Сане. Саня — сам мужик деревенский и далеко не слабый — обалдел от деда, похожего на какого-то бородатого богатыря. В нём всё было массивно и крепко, совершенно без висячей старческой кожи. — Да ты не тушуйся, я просто по природе здоровый, в деда и отца, — увидев Санино смущение, гудел он, — ещё природа и жизнь моя меня правят. Здесь нельзя быть слабым! — потом они долго, в три захода, парились, выбегая раскалённые в снег, и — снова в пар. Часа через два, лёжа в предбаннике на лавке, Саня спросил:

— Дед Ваня, а почему один? Ты же вон, здоров, как бык! Почему без жены?

— А была, была жена. Здесь недалеко деревушка стояла, дворов семь-восемь, я от отца тайком туда ходил. Там и встретил Глашу, Глафиру, то есть. Ей тридцать было, почитай, а мне четырнадцать годков. У неё муж по распутице в ручье утонул, она меня и заметила, истосковавшись. Я здоровый уже был, и желания меня мучили, а как это делать не знал. Дак она меня за зиму мужиком настоящим сделала. Ох, и любила она меня!!! А я дак просто прирос к ней, как бывает дерево к дереву прирастает — корнями! Весной к отцу её привёл, и он, слава Богу, благословил нас, видя нашу любовь. Потом мы к ней вернулись и четырнадцать лет душа в душу жили, её детей воспитывали и своего родили. Так она меня так любила, что на большую охоту одного не отпу

скала, со мной на охоте и погибла. В декабре подняли медведя, он встал, а ружьё старое-престарое — осечку! Он меня в снег задавил, а она заорала и длинной палкой, которой в берлоге мишку тыкали-будили, его и огрела. Медведь меня бросил — и к ней! Всё правильно сделала моя любимая: и спиной встала к дереву, и палку уперла в корень, и в грудь ему её направила, успела. Но только палка была гладкая, не рогатина. Он, зверь, на неё, как таракан на иглу оделся, но, пока сдыхал, разорвал Глашу мою в клочья. Я, когда в себя пришёл и выбрался из-под снега, чуть с ума не сошёл. А голову, оторванную, за десять метров в снегу откопал — так он её в предсмертии рвал... В общем, её тело собрал и в берлоге затрамбовал мёрзлыми комьями снега. Его же изрубил кусками и разбросал вокруг, чтобы волки Глашу не учуяли. Домой пришёл, хотел застрелиться, но дети спасли. А тут через два года война.

Санька был потрясён рассказом.

И что, больше ни с кем и не жил? А дети где?

— Жил, как не жил... Ещё три женщины было у меня, но слабые. Не могут меня терпеть. С блудной одной пожил потом год в деревне, так той кроме этого дела и браги ничего и не надо. В общем, ушёл сюда, и, слава Богу, всё меня устраивает. А дети в городе. Их, пока я воевал, в интернат определили, они там пообвыкли и остались. Теперь совсем взрослые, мы же почти ровесники. А мой где-то потерялся после войны, надеюсь, тоже живёт где. — Иволич вздохнул и, поднявшись, пошёл ещё в парилку. На этот раз он поддавал и хлестал себя особенно сильно.

Утром, как и предполагал егерь, «охотники» болели с похмелья и никуда не пошли. Но требовали «для отчёта перед женами» какой-нибудь дичи. Иволич, взяв Саню, километров через девять-десять, около незамерзшего парящего болота, выследил по ветру матёрого лося. Тот тревожно вздрагивал, часто поднимал голову, но незаствывший мох был так вкусен, что он пренебрёг своей

безопасностью и наслаждался кормом. Они подошли удачно — до зверя было шагов сорок, и егерь шепнул Сане:

— У тебя безкурковка, заряжена жаканом, стреляй. Я под выстрел взведу курки и добыю. Саня, стесняясь сознаться, что ни разу вообще не стрелял из охотничьего оружия, поднял ружьё, прицелился, как учили в армии, и, отодвинув безмянным пальцем лёгкую кнопочку предохранителя, потянул крючок спуска. Мощный выстрел ударил его отдачей в плечо и оглушил. Через секунду, оглохший и зажмурившийся от боли, охотник услышал ещё два выстрела. Когда он открыл глаза, егерь стоял метрах в десяти от бьющегося в агонии животного. Сашка подошёл.

— Ты зачем ему в голову стрелял? Его череп трудно пулей пробить, отрикошетила. Ты его только оглушил, он на колени упал и, если бы не мои выстрелы, ушёл бы. Не знал, что у него лоб — броня?

Нет, — растерянно топтался Саня.

— Ну, вот знай.

Минут через пять зверь затих, и они подошли. Санина пуля в самом деле ударила прямо в лоб, в наросты вокруг рогов, и лось бы, одыбавшись, ушёл... Но егерь добил его удачными выстрелами под лопатку.

С той поры Саня оружия в руки не брал, отдавая предпочтение рыбалке. И вот теперь. Может, он хочет напугать? Но нет, мне бояться уже поздно. Как будет, так и будет.

Он уснул.

* * *

Осенний день родился солнечным и тёплым. Проснувшийся дед Саня, вспомнив про «дуэль», снова ощутил холодок по спине. А если он меня правда убьёт? И что тогда? Кому это всё? Надо сыну написать или, проще, позвонить! И что? Я позвоню и скажу, мол, приезжай, меня убили?

Дед ошарашено размышлял: «Или письмо написать: убили меня, всё твоё? Да нет же, это целое дело — писать, на почту идти, конверт подписывать...

Времени нет. Он взглянул на часы — ого! Уже десять! А пять минут назад было восемь. Вот так быстро летит последнее время в его жизни!..

— Господи, да что это я сам себя хороню-то, мать честная? — он заскочил в дом и на тетрадном листке торопливо написал: «Если потеряюсь, — всё сыну, по адресу... (адрес). А козу и куриц — соседке Дарье, насовсем».

Он написал свою фамилию, красиво расписался и положил листок на стол.

— Поесть, что ли? А зачем теперь? Всё одно. да тьфу ты, пристала. — Дед с горечью сплюнул и пошёл во двор.

Без пятнадцати четыре дед Саня в чистой рубахе навывпуск и в тёмных брюках, заправленных в обрезанные болотные сапоги, вышел со двора и пошёл в сторону леса.

Едва он зашёл за первые деревья, из-за стволов вынырнул дед Вовка.

Молодец, а я жду, думаю, не придёшь.

— Что у тебя за привычка думать про людей плохо, а?

— Да я не плохо, я так по-хорошему, думаю, не придёт, значит проиграл! А ты, смотри... А завешание написал?

Дед Саня, неприятно удивившись, сознался: Да.

Конечно, написал. А ты?

— А мне не надо. У меня всё равно никого. А скотина заорёт, люди разберут, поди.

Со стороны могло показаться, что два добрых пенсионера идут в лес по грибы и мило беседуют о пенсии, о старой подагре и о прогнозах на зиму!.. Но это шли два непримиримых врага (по крайней мере, так считал один из них), шли с мыслью убить один другого.

До пади дошли минут за сорок. Здесь было душно и неуютно, тысячи комаров, предчувствуя скорые уже холода, наинулись на них. Дед Вовка был одет плотно, а дед Саня — наоборот легко, поэтому его быстро облепили сотни насекомых.

— Это что? — занервничал он. — И дуэли не надо, они меня так съедят!!!

Пришлось развести большой костёр и наладить на него ворохи травы. Комаров стало меньше.

— Ну, давай! Как будем решать, кто первый стреляет? — дед Вовка неприятно суетился, пытаясь показать полное спокойствие. — Бросаем монетку?

Ну, бросай?

Ты кто будешь? Орёл-решка?

— Мне всё равно. Давай решка, орёл же ты.

Дед Вовка засмеялся натянуто и, показав Саньке пятирублёвик, с большого пальца бросил его вверх. Монетка подлетела, падая, ударилась о голый корень и отскочила в лужу. Оба чертыхнулись. Когда осела муть, из-под воды на дедов смотрела цифра 5.

— Везет тебе, гад. Почему так, а? Дед

Вовка поднял монету и объявил:

— Первый стреляешь ты. Сейчас, по тем же правилам, патроны. Решка — пуля, орёл — картечь, — и кинул пятирублёвик. Он упал в траву, оба наклонились — решка! Дед Вовка, не скрывая радости, подал сопернику патрон.

— Вот, ствол есть, патрон есть, теперь — шаги. Сколько?

Двадцать... нет, давай тридцать или ещё.

— Считай вот от этого дерева, оно в воде, крови видать не будет.

У деда Саньки опять побежал холод по спине. Он подошёл к дереву и стал считать шаги, старательно вытягивая ноги.

— Не дуркуй, Саня. Тебе не выгодно далеко: вообще не попадёшь, а мне проще тебя хлопнуть. Считай нормально.

Отсчитав положенные шаги, дед Саня обернулся. До дерева было рукой подать.

— И это всё?

Дед Вовка встал у дерева лицом к деду Сане.

— Да, блин, близко. Не знаю, как ты, но я тебя точно застрелю. Ладно, если промажешь, я ещё отойду на десять шагов, так будет честно.

Он, зажав левой сухой рукой ствол ружья, ловко соединил его с прикладом, прищёлкнул цевьё, переломил и резко закрыл, чакнул спуском.

— Машина! Этому ружью больше ста лет, а оно, как новое... Жалко будет с тобой топить...

— А ты не жалеяй, дурак! Оно с тобой останется, в этой вон луже! — дед Саня просто рассвирепел. Внутреннее напряжение, как вода каплями ведро, переполняло душу.

— Давай ружьё и вставай к стене, старый пень. Придумал себе или, точнее, сам сделал себе боль и всю жизнь упиваешься ею, виноватых ищешь! А никто, кроме тебя, ни в чём не виноват, твои все шансы были. И Даша тебя любила и любит, как. — он закрутил головой, пытаясь найти название этой любви, — как мать ребенка, на всю жизнь! И ты сам всё угробил, а сейчас нашёл оправдание своей глупости — это я. Знаешь же, что даже если я тебя застрелю, всё равно себе этого не прощу и жить нормально не смогу. Получается, ты меня и так и так опять в угол загнал, и выход только в одну сторону.

Дед Санька защёлкнул ствол и поднял ружьё в сторону деда Вовки. Тот посерел лицом и, прикрывая правой рукой грудь, вдруг сказал:

— Саня, погоди. Можно я спиной повернусь? Страшно — жуть! Вдруг ещё в лицо попадешь.

— Нельзя! Это мой выстрел. Стой спокойно, не шевелись.

Дед Вовка заорал:

— Как не шевелись? Это же не фотографироваться! Ты же меня убить можешь.

— Наверно, так. Во всяком случае, попробую. Но это ты придумал, поэтому стой. Или проиграл?

Дед Вовка, опустив руки по швам, поднял лицо.

— Стреляй, стреляй.

Дед Саня расставил пошире ноги, поднял ружьё и, наклонив голову к прикладу, навёл ствол на грудь деда Вовки. Тот, согнув тело, неуклюже выставил вперед локти и, немного присевший от страха, стал казаться каким-то игрушечным. Дед Саня оторвал лицо от приклада, ещё раз посмотрел на деда Вовку.

— Стреляй, гад, скорее! — дед Вовка трясся, как в лихорадке, — промажешь, я тебя точно убью. А если раню, горло перегрызу, но добью, — он уже отчётливо клацал зубами. Я тебя давно хотел убить... Помнишь, в семидесятые ты уснул в соломе на уборочной, так это я на машине ночью по тебе проехал! Жалко, маленько не подрассчитал, промазал в темноте. Так бы сейчас без суеты этой всё было.

Последние слова он уже выкрикивал, словно лая, с напряжением и надрывом.

Дед Саня навёл ствол на грудь деда Вовки и, закрыв глаза, нажал на спусковой крючок. Выстрел грянул громко и гулко, как в бочке. Ничего не видя, он услышал долесекундное жужжание витой пули и сухой звук её удара о что-то, а уже затем плеск воды от упавшего тела... Всё? Дед Саня бросил ружьё и побежал к деду Вовке.

Дед Вовка лежал в воде вверх лицом чуть справа от ствола, с закрытыми глазами, неестественно откинув левую руку над головой. Машинально взглянув на дерево, дед Саня увидел выщип на стволе сбоку с торчащими занозами и дырой посередине.

Догадка ужаснула — навывлет?!

Но крови, от несомненно разорванного тела, не было. Он схватил деда Вовку за плечи и поволок его из воды на сушу и только теперь заметил на левой стороне,

постепенно окрашивающейся кровью куртки вырванный клочок. Положив тело, дед Санька быстро расстегнул куртку соперника и, перевалив его с боку на бок, снял её. С левой стороны, сбоку — кровь, левая рука тоже в крови. Дед Санька, разорвав рубаху, увидел последствия выстрела. Пуля попала деду Вовке в щель между грудью и прижатой к телу левой рукой, содрав кожу немного ниже груди и сломав рёбра. Левая же его сухая рука была перебита чуть выше локтя и, кровя, култыхалась на мышцах.

Дед Вовка застонал, что-то промычав, открыл глаза и уже внятно произнёс негромко и обречённо.

— Если так не можешь, возьми мой патрон. Только добей, когда отключусь, а то очень страшно. — Он приподнял правую руку с зажатым в ней патроном и, естественно хрюкнув от боли, опять отключился.

... В двенадцатом часу ночи в дом к бабке Дарье Меркуловой кто-то постучал. Она, быстро накинув тёплую фуфайку, выскочила в сени и, включив свет, открыла дверь. На пороге стоял дед Саня. Шагнув навстречу, быстро заговорил:

— Мы по-честному всё, просто мой выстрел первый. Он не мёртвый, только скулит и отключается.

— Кто?

— Да Вовка, кто! Я ему руку к ветке примотал, а на грудь тряпок не хватило. Хотел тащить на себе, но понял, что не смогу. Домой за тележкой сбегал, поэтому долго так.

Дарья, охнув, оперлась на дверной косяк.

— И где он?

Дед Санька выскочил на улицу, следом — Дарья.

Дед Вовка лежал в садовой тележке с забинтованной вытянутой рукой, бессознательно склонив голову набок.

— Господи, Саня, несём его в дом скорее... — И они вдвоём, спиной вперёд, затащив его в кухню, раздели до трусов и испачканного кровью положили на диван в

большой комнате. — Беги за женщицей. Пускай бинтов возьмёт больше и ещё, чего положено.

Дед Санька сорвался и, неуклюже топоча, выбежал. Дарья, нарвав кусков марли, мочила их и стирала с тела присохшую кровь. Дед Вовка застонал и, открыв глаза, растерянный неожиданностью увиденного, хрипло произнёс: — Дай водки, пожалуйста, больно очень. Может, отпустит.

Нет, нельзя, врач придёт укол поставит от боли.

— Какой врач? Она в милицию пойдёт, его же заберут и всё... А мне ещё выстрел по нему делать...

Да у тебя рука отломана, грудь разбита.

— Рука всё равно сухая, её отрубить — и делов, а его посадить могут, как тогда мой выстрел?..

Дарья взбешённая вскочила.

— Закрой свой рот, дурак, или я тебе его скалкой закрою. Он тебя волок на себе, надрывался — спасал. А мог бы просто уйти, тебя бы за ночь комары съели до костей. Ты когда успокоишься, нрав свой дурной показывать перестанешь, поумнеешь проще говоря? Ведь столько жизней переломал, столько судеб поисковер-кал, бессовестный. Я думала в конце спокойно пожить доведётся, но вижу — нет. В общем, как хочешь, но если мысли свои не забудешь гадкие, я тебя больше не знаю! И всё! Всё!

Дед Вовка молчал, закрыв глаза. В сенях громко затопали, зашли женщица, а за нею растерянный дед Саня.

Жемица сразу прошла к деду Вовке, скинула простыню и присвистнула.

— Ну, рука точно переломлена, с грудью проще. Удар сильный, три ребра сломаны. Правда, гипс сразу нельзя, пока рана не заживёт, но есть корсеты в городе съёмные, очень удобно, хоть и дорого. Но с рукой обязательно в больницу, аппарат ставить, чтобы кости срослись. Хотя смотрю она совсем сухая, нерабочая.

Дед Вовка, наконец, заговорил:

— Мне её как в конце восьмидесятых лошадь вырвала, которую я на вожжах удержать хотел, с тех пор она и заболела. Сначала, хоть маленько, работала, но уже года два-три вообще, как высохла. Пальцем даже в носу не поковыряешь, — он улыбнулся, — её можно ампутировать — не жалко.

— Знаете, это врачам решать! Но в любом случае надо что-то делать, не дай Бог, заражение. Я укол поставлю обезболивающий, грудь забинтую, на руку шинку поставлю временную, и завтра, на «скорой», в больницу.

Все молчали. Она, завершив работу, собрала инструмент и, выходя, напомнила:

— Завтра на девять утра «скорую» вызываю. Будьте готовы.

— Доигрались, дураки! Теперь одному руку отрежут, другого посадят. Вот опять счастья в подол упало, — бабка заплакала, утирая лицо занавеской.

— Я не скажу ничего. Навру, мол, через забор полез и сорвался, на столбик оделся. и все дела.

— Кто тебе поверит, через забор, старый дурак? В общем, всё! Ты, Саня, вот на тот диван ложись, через комнату, и спи здесь. Может, ему что понадобится ночью, поможешь. Я пошла спать в спальню. Только не задавите друг друга во сне, дулянты недоделанные!!!

Она зашла в комнату и затянула занавески дверного проёма.

Дед Саня шелкнул выключателем и, слепо шаркая ногами, добравшись, лёг на незаправленный диван.

— Саня, а ты почему меня не убил, а? — дед Вовка затаился.

— Промазал я, — дед Саня отвернулся к стене.

Утром бабка Дарья вышла в половине восьмого в светлом платье и ярких шерстяных носках, свежая, с заплетёнными волосами.

— Я со «скорой» с тобой поеду, узнаю, что и как. Врачи всё расскажут, объяснят, а машина подождёт. Не бросит же она меня в городе.

Дед Вовка, довольный вниманием, молчал, правой рукой вода по саднящей груди.

— Вот так. А я что буду делать? — дед Саня стоял, растерянно разведя руки.

— Хозяинничать будешь. Теперь у тебя не одно, а три хозяйства. Так что можешь начинать с Вовкиного.

Дед Вовка поднял голову и добавил:

— Ключ в старой конуре собачьей, слева от дверей. Сарай откроешь, всё увидишь, что делать. Корма тоже там, в бочках железных. И ещё дома кошка Вьюшка, её покорми...

— А у меня знаешь, что делать. Надеюсь, коза тебя не забодает. — Бабка Дарья между делом накрыла на стол и пригласила завтракать. Но оказалось, что дед Вовка сидеть не может, и она, подложив ему подушку под плечи, покормила его с ложечки.

Дед Вовка с аппетитом ел пшённую кашу на молоке, держа в правой руке кусок постной лепёшки, периодически откусывая и тщательно жуя.

«Вот гад, — думал, глядя на него, дед Саня, — может, он это специально устроил? Больных же жалеть! — но, вспомнив его перед выстрелом, решил, что не прав. — Нет, так не притворишься. Я же мог попасть!» — и он, сев за стол к ним спиной, стал пить чай с вкусным свежим клубничным вареньем.

Через час приехала «скорая», и здоровый, как конь, молодой смешливый шофёр, словно ребёнка загрузил деда Вовку в машину.

— Говоришь, на столбик оделся? — хохотал он заливисто и беззлбно, — это хорошо боком, я думаю! Рука что? Раз, и удалят, а если бы ты своим причинным местом оделся на столб, как бы врачам поступать? Вот вопрос! Не жалеете вы себя, молодые люди!.. — он, хохоча, запрыгнул в кабину и, гуднув на прощанье, увёз

деда Вовку и бабу Дарью в город! Дед Санька остался на дороге, глотая густую осеннюю пыль. Потом махнул рукой и пошёл на двор деда Вовки — управляться!

* * *

Вечером «скорая» завезла бабу Дарью домой. Дед Саня только зашёл в её дом из сарая с маленькой кастрюлькой молока.

— Вот молодец, а я устала в больнице до боли в сердце. В общем, не так всё хорошо. Грудь еще более-менее. Если будет лежать, через месяц выздоровеет. Но вот рука! Врач сказал, что ещё раньше мышцы порваны в предплечье и, поскольку он не обращался в больницу, постепенно без работы атрофировались и высохли. Как он терпел, непонятно. И ведь работать не переставал до пенсии, вредный.

Деду Саньке послышалась гордость в голосе бабу Дарьи. Он поморщился от неожиданно нахлынувшей ревности и, чтобы скрыть её, спросил:

— А что теперь-то?

— Теперь её, скорее всего, отрежут. Ближе к плечу, где ещё живые мышцы есть. Чтобы заросло всё. Но за ним нужен уход, поэтому завтра я поеду в больницу. Мне разрешили за ним ухаживать, пока он тяжёлый, а ночевать буду там, в стационаре для приезжих из деревень.

Дед Саня внимательно дослушал и продолжил свою мысль:

— А мне что здесь делать? Скоро зима, я разорвусь на три дома, но всё равно не успею. У меня у самого коза, куры. У тебя коза, куры, собака. Ещё и у него курей полная сарайка, кошка наглая, картошку варёную не жрёт — молока ей давай. И ещё кролики у него, сколько не знаю, в яме в сарае. Я свет включил, а они там, как мыши, по норам. И что? Когда за этим одному управиться?

Бабу Дарья, помолчав, вздохнула и, как о давно решённом, заговорила:

— Всё помаленьку ко мне переселяй. Мои-то сараи не сравнишь с вашими — просторные. Не любил мой покойный муж тесноту! Вот ты и собирай всё у меня, и живи у меня, пока всё уладится, а потом разберёмся. — Она подошла к нему и, обняв по поясу, положила голову на грудь.

Он, вдруг заволновавшись, обнял её за плечи и легонько прижал, перестав дышать.

Господи! Сколько лет он помнил эти плечи, эти руки и волосы у своего лица. Как мечтал он ещё когда-нибудь испытать прикосновение к ним, ставшим тогда для него родными. И вот свершилось! Она подняла лицо к нему, и он, уже не думая, поцеловал её в давно отвыкшие от поцелуев губы.

— Я всегда верила и дорожила твоим добрым сердцем, дорогой. А любила и люблю в тебе твою бесконечную настоящую человечность. И душу, понимающую и чувствующую боли других. Мы уже слишком-слишком взрослые, чтобы думать только о своём личном. И пускай память о том, что было, поможет нам правильно и достойно дожить наше время. Согласен, милый?

И дед Санька, прижавшись губами к её волосам, совершенно серьёзно ответил: — Согласен, дорогая...

Для деда Саньки начались весёлые дни! В «роскошных» сараях Меркуловых дед отгородил отдельные загоны для коз и, поселив там свою и Дарьину, просто упивался получившейся идиллией. Козы смотрели друг на друга через загоны и, как казалось деду, судачили о своих «бабских делах». Вот Дарьина — ме-е-е, а его — ме! Дарьина — ме-ме-ме, а его — ме-ме. И когда он их доил по очереди, неподоенная внимательно смотрела, как доят первую, а потом, уже подоенная, хлопая ресницами, смотрела, как доят вторую — тишь да гладь, козья благодать!

Но с курами вышла промашка. Поизловив всех своих (восемь штук и петух, куцый серый, с рваным гребнем), он поселил их в просторном помещении. Потом, подумав, подселил к ним Вовкиных пять хохлатых пёстрых и, наоборот, белого высокого с короткими крыльями петуха. Мать родная, что тут началось! Вовкин подлец, наверное, удалой в хозяина, позабыв обо всём, в том числе и о своих подругах, устроил охоту на деда Санькиного пенсионера. Его серый, моментально поняв, чем ему грозит встреча с более молодым, стал бегать с криками по сараю, рассыпая перья после ударов белого, не боящегося даже машущего на него деда. Возмущённые куры, всё равно любящие своего суженого (серого), тоже бегали и вспархивали, учиняя крик и шум. Обиженный таким беспределом, дед Санька поймал своего, подбежавшего к нему за защитой, и поднял к груди. Так белый стал нападать на дедовы ноги, которыми он отбивался от него.

— Во, суп! — шумел дед, — весь в своего хозяина!

Пришлось переселить своих в соседнее, довольно маленькое помещение.

— Ничего, в тесноте, да не в обиде, — бурчал он, обиженный этим бессовестным петушиным поведением... Кроликов, не зная как их добыть из ямы, где у них десятки многометровых нор, он решил кормить на месте. — Буду просто приходить и сено да овёс вниз бросать. Воду он лил прямо сверху в брошенную, наверное, для этого, разрезанную большую шину от грузовика.

Кошка же Вовкина, наоборот, сразу почувствовала себя хозяйкой и разлеглась на диване, показывая, что ей вполне хорошо.

В хозяйстве деда Вовки он сделал всё. Закрыл погреб, набив творило соломой, заметал в стожки сено, сваленное в огороде, сложил порубленные посреди ограды дрова в две огромные поленицы. Перенёс из дома к Дарье два непонятно какой породы цветка в больших глиняных горшках. Телевизор накрыл толстым покрывалом и, выйдя, плотно затворил на окнах ставни.

— А что? Ничего. Чего скрывать-то? И так все узнают, — непонятно бурчал он. Закрыл изнутри ворота и, оглядев для порядку двор, через огород ушёл к Дарье. Свою хату он решил не бросать.

— Дрова есть. Буду через день топить печь, а то вдруг сын придет в гости, куда его, — думал он.

Сам он уже вполне обжился у Дарьи, а бабка приезжала по два раз в неделю и рассказывала деду Саньке страсти про больницу.

Вовке отрезали руку по самое плечо, и после наркоза он, пьяный, твердил про свой выстрел.

— Ты только патрон заряди, я одной рукой не смогу, — с вытаращенными глазами твердил он в беспамятстве Дарье, — а прицельюсь я и с одной руки.

Бабка звала сестру, и та вкальвала деду Вовке успокоительное. Потом были воспаление, нагноение и много чего ещё. Но.

Через месяц она приехала радостная.

— Вовку на той неделе выписывают. Он уже расхаживается постепенно и ест сам. Я там уже не нужна, вот скопившиеся одёжки привезла, все постираю и будем ждать.

Дед Санька улыбался, радуясь тому, что хоть несколько дней побудет с ней вдвоём. Он часто вечерами представлял, как они будут сидеть за столом и разговаривать о жизни, дую на горячий с мёдом чай. Как это здорово, кто бы знал!

* * *

В Новогоднюю ночь, за час до курантов, за красивым полным столом сидело трое. Два старика, оба гладко побритые, в чистых рубахах, и старушка в цветной кофте на яркий сарафан, с повязанной праздничным платком головой!

Они провожали старый год. Вдруг один, седой, как лунь, и всё время молчавший, с заткнутым за пояс пустым левым рукавом, негромко сказал.

— Можно, я скажу вам?

Бабка и другой дед замолчали, напряжённо переглянувшись. Он начал:

— Родные мои, ты, Санька и ты, Дарья. Да, родные мои и самые близкие мне люди на этой земле. Если бы вы знали, как счастлив я, что вы сейчас рядом со мной, оба. Если бы знали вы, как я рад, что Господь отвёл от меня грех, который хотел я совершить. И простите меня за все мои нехорошие дела, которые вольно или невольно делал в жизни. Клянусь, что только благодаря вашему терпению и доброте считаю себя счастливым, находясь рядом с вами. Спасибо вам, родные и любимые мои.

Не скрывая наворачнувшихся слёз, он трясущейся рукой полез в карман, вытащил обшарпанный патрон, со стёртыми буквами на бумажном боку и через стол протянул его другому.

— На, Саня, и не думай, что смерть в нём! Нет, там истина, которую я, слава Богу, понял в старости. А истина проста, проста, как и жизнь. В прощении истина, и — в любви. И нет больше правды, чем эта. — Он со стуком поставил патрон посреди стола и, подняв покрасневшие глаза, добавил:

— Простите меня, любимые мои люди. Простите.

8 декабря 2012 г.

К нему

Наконец-то пришла суббота, с её, казалось, разрешением на отдых. Но Ванька, вернее Иван Владимирович Распашной, собирался в лес пилить дрова. Он спокойно ходил по ограде и собирал всё, что считал нужным для этого серьёзного дела, в коляску мотоциклета. Он прекрасно знал, куда ехать, сколько времени займёт эта работа, поэтому совершенно не спешил и наверняка ничего не упустил из внимания. Жена, стоявшая на крыльце, подперев плечом дверной косяк, улыбалась, скрещёнными на груди руками давая понять, что разговаривать больше не будет. Вчера, разморённая вечерней баней, затем настойчивыми мужниными ласками, неожиданно очень приятными, она, лёжа головой на плече, попробовала отговорить его. Но Иван, будучи по-хорошему настойчивым в своих решениях, всё же убедил в необходимости заготовить машину дров именно сейчас.

— Понимаешь, машинку порублю, они за всё лето подсохнут, для запала и для бани пригодятся. А в октябре ещё машину тяжёлых напилю для тепла, и хватит на всю зиму с лихвой...

— Как знаешь, — жена прижалась к его плечу и тихонько засопела.

Иван любил жену. Любил серьёзной любовью, всем сердцем, доверяя ей и надеясь на её взаимность. Любил и за то, что она, не боясь трудностей, родила ему двух

ребятишек — Аню и Вовку, пообещав вскорости родить ещё. Он тихонько снял её голову с плеча, стараясь не скрипеть, поднялся и прошёл в комнату детей. Аня — семилетняя папина радость, спала аккуратно на правом бочке, улыбаясь во сне любимой кукле, занявшей половину подушки. Вовка же — пятилетний наследник и его гордость, как обычно, вылез из-под одеяла и спал поперек кровати, сжимая кулачок на груди и во сне сморщив лобик. Иван легонько укрыл его, присел на кровати и залюбовался сыном, перебирая в голове ласковые слова, пытаясь выбрать подходящее, каким ещё никогда не называл. Ничего не найдя соответствующего настроению, чмокнул в лобик и, неожиданно для себя, перекрестил, немного даже смутившись своего поступка. Подойдя опять к дочери, перекрестил и её, вслух сказав: «А кто его знает?!».

Было Ивану неполных тридцать три года отроду.

* * *

Утром он проснулся очень рано, решив ещё с вечера так, чтобы осталось время на субботний отдых, игру с детьми, которым очень не хватало общения с отцом. Встал, казалось, очень тихо, но, когда уже почти собрался, увидел стоявшую на крыльце жену.

— Ну, чего ты встала? Иди, полежи ещё. — Хотя самому было приятно её внимание, которое не проходило со временем. Он поднялся к жене, крепко обнял её и, улыбаясь, спросил:

— Может, сегодня получилось что, а?

— Может, и получилось, скоро узнаем, — она стряхнула с него невидимую соринку и, посмотрев в глаза, с улыбкой сказала, — ждём.

Он ехал неторопливо в лес по знакомой, тысячи раз хоженной дороге, вдыхая полной грудью чистый, сладковатый, бодрящий воздух. Он любил работать один. В юности часто приходилось исправлять чужие ошибки и даже отвечать за них. Однажды понял, что

лучше делать всё самому вместо того, чтобы постоянно кого-то поучать. Так же и в лесу. Он знал и умел пилить лес, тем более такими хорошими импортными пилами, что даже перестал брать с собой топор.

Выделенные ему лесником берёзы стояли недалеко друг от друга. Отметил их лесник из-за обожжённых весенними палами стволов. И хотя верхушки были зелёными, через год-два такие берёзы умирали. Первую он свалил быстро, но, подойдя к другой увидел, что она ляжет на молодую красивую берёзку, трепетавшую от страха листочками.

— Ну, не бойся, не бойся. Постараюсь уж ради твоей красоты и юности.

Мысленно просчитав, он решил положить берёзу немного в сторону. Но загвоздка была в том, что она могла упасть на согнутую градусов на сорок, огромную в два обхвата лесину, гордо стоявшую и осознающую свою непоколебимость. «Да попробую, что уж...» — Иван сделал запил с неудобной стороны почти на полбревна. Затем стал аккуратно зашлифовать с обратной, уверенный, что порыв ветра поможет ему. Но, как назло, ветер стих, и Иван с шиной, зажатой в стволе, сбросил газ, держа пилу на изготовке. Ствол был почти полностью пропилен, и дерево стояло только благодаря противовесу листьев. А порыва ветра, чтобы допилить оставшие сантиметры, не было. Но вот ветерок, пошелестев листвой, качнул дерево, Иван поддал газу и пропилил ствол до конца. Но порыв был недостаточно сильным, и дерево стало наклоняться в ненужную для Ивана сторону, зажав пилу и грозя опасностью последствий. Волнуясь за пилу, Иван не отбежал в сторону, а упёрся руками в ствол, пытаясь удержать его, понимая явную бесполезность этого решения. В стволе что-то звонко, знакомо для Ивана, хрустнуло, и дерево с нарастающей скоростью стало валиться. Иван, оттолкнувшись от ствола, прыгнул в противоположную сторону, но, запнувшись о куст шиповника, упал на колени. Крона

с шумом ухнула через согнутую лесину и комель, проскользив по ней, ударил Ивана в грудь и, проволока метра три-четыре, припёр спиной к другому дереву, упав всей тяжестью ему на колени. Получилось так, что Иван сидел у дерева с вытянутыми ногами, а на бёдрах и животе у него лежал полутонный комель...

* * *

Очнулся он через несколько минут. Дикая боль и звон в ушах мешали сразу сориентироваться, и несколько секунд он пытался понять, что же с ним произошло. А вместе с оценкой происшедшего пришёл страх. Превозмогая боль, попробовал поднять руки. Левая, ушибленная, работала. Правая — плетью лежала вдоль тела, не реагируя на попытки шевельнуть ею. Ног он не чувствовал совсем. Непомерная тяжесть ствола заполонила пространство, беспощадно раздавливая тело... «Господи, как же это? Что же я? Пропал?». Он никогда не верил в своё бессилие, тем более в смерть. «Это может быть с кем-то, но не со мной. Я знаю, что делаю, знаю, как делаю, и делаю всегда правильно». Но сейчас всё произошедшее деморализовало его своей очевидной простотой. Вот он, полный сил и здоровья, и вдруг раз и — всё! Нет его?! Или почти нет?.. Слёзы навернулись на глаза и потекли ручейками по щекам, мешая комарам кусать ещё полные крови мышцы лица. «Жена, я погиб! Слышишь?» Опомнившись, он заговорил скороговоркой, пытаясь успеть сказать, как ему казалось, самое главное: «Прости меня, милая, родная, прости. Любимая... » Он пытался назвать имя жены, но оно почему-то не приходило на ум. Он суетливо вспоминал имена женщин, как бы выбирая подходящее и, не сумев вспомнить, заорал, как ему показалось, очень громко. «Ну и сука же ты, Ваня! Жена... жена... жена, а что она человек с именем — забыл. Забы-ы-ы-л!» Он прокусил губу, но крови не почувствовал. Пытаясь понять почему, на несколько минут потерял сознание.

...Жаркое солнце, середина июля, уже печёт. Хотя время ещё — нет обеда. Его мать — молодая красивая женщина, катит с ним на велосипеде на покос к отцу, везут обед в деревянном самодельном ящике, привязанном к багажнику. Он, годовалый большеголовый крепыш, привязан к её груди платком крест-накрест. Не понимая, почему так неудобно, лезет свободными руками матери в лицо, в глаза, в рот, и уже начинает немного скулить, пуская слюни на грудь. Мать, улыбаясь, не отворачивая лица, говорит что-то ласковое и успокаивающее.

...Потом вдруг отец, лёжа на свежем сене, поднимает его над собой и щекочет живот и шею небольшими, но пушистыми усами, дуёт губами, сложенными дудочкой, в пуп и пах, вызывая Ванькин весёлый смех...

И кругленькие ярко-красные ягоды земляники, ссыпанные ему в ладошку, такие сладкие, но растворяющиеся в руках, вызывая нетерпение и неудовольствие... И засыпание под навесом, на большой груди отца, раскинув руки, — быстрое и по-детски беспробудное.

Потом сбор домой. Отец, помогая привязать его на место, почему-то остаётся и кричит, махая вслед рукой: «До вечера, родные мои!» — и, взяв большие грабли, уходит в поле, парящее маревом и густым запахом све-жескошенной травы.

Опять пришёл в себя. Сколько времени прошло? Иван подумал, что его вдруг могут найти. Хотя, скорее, нет, ведь он всегда просил отвести ему участок подальше от деревни, потому что за околицей за много лет лес стал редок и некрасив, и ему было просто жаль его рубить. Поэтому — нет, скоро не найдут.

Очень захотелось спать. Тем более, что тело больше не болело, даже не ныло. С трудом повернув голову, он посмотрел на лежавшую рядом, словно чужую, руку. Она уже была какая-то серая, бескровная. И увидев, что штаны стали темными и сырыми, спокойно понял, откуда кровотечение. «Внутри всё лопнуло», — дога

дался он. Слабость постепенно побеждала. Иван вдруг явственно услышал детские крики и обрадовался: «Милые детки мои, послушайте, что скажу! Не уберёг я себя, теперь вам тяжелее будет. Вы мамку слушайте, она вас плохому не научит и всегда защитит. Будьте ей за меня помощниками».

По торчащим веткам сверху к нему плавно опускался человек. Белая рубаха, почти до ступней, развевалась, как парус. Человек приземлился на лежащий на Ваньке ствол. Усталые серые глаза, худое лицо, редкая борода, длинный волос. «Господь», — без удивления подумал Иван.

— Ну, скажи, грешник. Как так? Сколько же можно судьбу испытывать? Всё один! К тому же без веры живёшь. Ответь!

— Прости, Господи! Прости и помоги! Защити жену мою и детей моих без меня. Не дай им лиха испытать. А я уж тебе покаюсь и за всё отвечу. Не оставь мя, Господи!

Человек склонил голову и тихо промолвил: «С Богом тебя, сын мой! Пусть душа твоя обретёт, наконец, смирение и покой на веки вечные... » — затем поднял руку и, наложив на себя, а затем на Ивана крестное знамение, легонько повеял на него ладаном и, повернувшись, поплыл вдаль, вверх, через ветки берёз в светлое святое небо...

— Да простите же меня все! Все, с кем был знаком, не придавая этому значения, простите те, к чьим словам и просьбам оставался равнодушным, поставив своё выше. Еще прости меня, жена моя! Ведь перестал замечать в тебе женщину, перестал слова говорить о любви своей, перестал поклоняться силе твоей материнской... И вы, главное в жизни моей, дети, простите, простите, простите, и не забудьте меня в жизни, предстоящей вам долгой...

Засыпающий мозг подал сигнал правой руке пере-креститься.

— Она сломана, не сможет, — возразил Иван.

А левой?

Левой нельзя, я же православный! И как же? — Да, Господь простит!

Резко запахло сладким, музыка или звенящий трепет листьев стали отдаляться, в лицо вдруг потянуло прохладой и он, Иван, поднявшись, пошёл, торопливо размахивая руками, вдаль, где мерцал или алел, или ещё как? — светился закат. И уже, когда его почти не стало видно, обернулся и махнул рукой, прощаясь с тем, который навсегда уснул под берёзой.

2012 г.

Инвалид

В принципе, Пашка был здоровый парень. Родился и рос в деревне, любил парное молоко и свободу, в которой его не ограничивали родители, и к восемнадцати годам вырос крепким и довольно хватким. Когда пришла повестка, как некоторые, не испугался армии, а с удовольствием решил идти служить.

Медкомиссию и все положенные по этому поводу дела прошёл быстро. Когда приехал домой с повесткой, мать немного всплакнула, отец крепко обнял и решил в субботу делать проводы.

Пашка пошёл по деревне звать друзей и подруг, без которых, как сказал отец: «Никуда». Обойдя своих, он решил, что надо ещё позвать корефанов из соседней деревни. Спросив у своего одноклассника Вовки мотоцикл, он вечером поехал туда, надеясь к темноте вернуться. Но, пока туда-сюда: там постоял со знакомым, там постоял, получилось, что обратно ехать по темноте. Мотоцикл у Вована был старенький и, если мотор работал хорошо, то света почти не было. Осенние ночи холодные, и Пашка торопился. Ещё глаза без ветровика слезились и, когда он увидел в двадцати шагах чей-то мотоцикл с люлькой, брошенный на дороге, ни затормозить, ни свернуть уже не успел. От сильного удара его выкинуло из седла на дорогу, засыпанную гравием, и последнее, что он услышал — это хруст лопающейся челюсти, а последнее, что увидел — яркая вспышка,

которая постепенно тускнела в глазах с усилением боли. Потом всё лопнуло оглушительно, как гром, и погасло быстро, как молния...

Тяжёлая черепно-мозговая травма. Субдуральная гематома справа. Закрытый перелом плечевой кости. Закрытый перелом костей левой стопы. Перелом челюсти с выпадением пяти зубов.

Хирург посмотрел на Пашку, покачав головой.

— Да, неплохо покатался. А, может, сразу инвалидность начнём оформлять?

— Да что вы, какой же я инвалид? Голову залепили, кости срослись, вот только зубы вставлю — и всё. — Пашка бессознательно потрогал рукой осколки зубов во рту.

В принципе, только по лысой голове и беззубому рту можно было сказать, что он недавно побывал в передраге.

— Вот зубы вставлю, волосы отрастут, и никто не узнает ничего.

— Ну, смотри, я предупредил. — Врач поставил свою подпись под историей болезни, и Пашка поехал домой.

Все его погодки уже ушли в армию. Пашка съездил в военкомат, получил военный билет и устроился на работу. От работы не увиливал, поступать старался всегда честно, не выжимая себе привилегий. Через год познакомился с красивой девушкой, приехавшей на практику из мединститута, и безоглядно в неё влюбился. Не откладывая в долгий ящик, этой же осенью сыграли свадьбу. И когда жена через год родила ему пацанов-двойняшек, счастью не было предела. Теперь он вообще перестал отдыхать и работал постоянно, поражая всех своей работоспособностью. Только вот голова начала болеть. Он перестал париться, потому что после парной боялся даже пошевелить головой от боли. Совсем бросил курить и выпивал очень-очень редко и то по 100-150 грамм водки. Но работу он бросить не мог, понимая, что от этого зависит благосостояние детей. И вот жена, видя его мучения, просто заставила его попробовать получить инвалидность.

— Понимаешь, Паша, с инвалидностью у тебя будут льготы, хотя бы на покупку лекарств. И в больницу можешь обращаться без всяких направлений. Сделай это, пожалуйста. Сделай для нас. — И он, обнимая её с пацанами вместе, обещал.

Потом начались поездки по больницам и кабинетам. Много раз он, стоя в очередях или мотаясь через весь город за справкой, а потом в другой конец города — за другой, порывался всё бросить. Но жена терпеливо и спокойно убеждала его закончить начатое, и он снова вступал в бой. Наконец, почти через месяц, он всё собрал и ещё через месяц ему назначили комиссию.

* * *

На комиссию он приехал с вечера, ночевал на вокзале и утром на первом автобусе поехал по адресу. Поехал специально раньше, чтобы попытаться пройти всё одним из первых. Месяц назад он сдавал сюда своё дело, поэтому приехал к заветной двери быстро. Эта широкая чёрная дверь находилась сразу за остановкой и, чтобы не стоять, он сел на лавочку на крытой автобусной остановке. И немножко даже закемарил. Но когда хлопнула входная дверь, проснулся и выглянул из своего убежища. Из «волшебной», как он для себя окрестил, двери вышли двое. Один — здоровый бугай в дорогом спортивном костюме, с широким лицом и громким голосом. Другой — наоборот, небольшого роста, вертлявый и, как показалось Пашке, заискивающий.

Вначале говорил маленький:

— В общем, Мишенька, всё в норме. К твоей инвалидности никто не придерётся, всё у тебя по закону.

Тот громко отвечал:

— Ну, спасибо тебе, Олегович, помог. Так что говоришь, мышца у меня в ноге сохнет? А? — и он громко захохотал. Маленький суетился, улыбаясь и потирая руки.

— Конечно деньги не большие, но льготы хорошие, а деньги всегда пригодятся.

— Да, деньги я тебе отдавать буду, мне корочка нужна для дел. — И здоровяк опять засмеялся.

— В общем, Олегович, «будешь у нас на Колыме» — пьём коньяк, жрём шашлык! Хорошо? — маленький хихикал и кивал лысой головой. Здоровяк сел в недалеко стоявший роскошный автомобиль и, прогудев, уехал.

Маленький постоял ещё, оглядываясь по сторонам, потирая руки и внимательно поглядывая на них. Затем зачем-то понюхал правую и, громко хмыкнув, вошёл в дверь, перед этим тщательно вытерев ноги. Посмотрев на часы, Пашка подошёл к заветным дверям.

— Буду здесь стоять, а то набегут сейчас инвалиды! — он засмеялся мыслям. — Всё хорошо.

Пашка был в очереди самый первый. Но, когда услышал из кабинета «очередной, входите», вдруг засомневался и пропустил вперёд пожилую женщину, которая громко ругала власть, не дающую ей инвалидность, хотя она всю жизнь «корячилась» на стройке, да ещё, как оказалось, зря. Она всё время спрашивала его с издёвкой:

— А ты-то чего? Ведь молодой и морда нормальная, и не хромаешь, а туда же...

Как назло, позади его все оказались пожилыми претендентами на инвалидность, и за него никто не заступился.

Минут через двадцать женщина выскочила, радостная, словно выиграла в лотерею очень много денег. Мужик, который был за нею в очереди, поднялся и пошёл в кабинет. Пашка сказал, что его очередь, но мужик, не слушая его, спокойно зашел и закрыл дверь.

— Моя очередь будет, ладно? Я же пропустил женщину, а мужик сам прошёл. — Он встал и подошёл к двери.

Здесь вообще стал чувствовать себя, как, наверное, лошадь на продаже. На него все стали оценивающе смотреть, только что зубы показать не просили. За время, которое мужик был в кабинете, Пашка взмок. Через полчаса он всё-таки вошёл.

Маленький кабинет с ширмочкой. Слева сидит женщина лет сорока, тёмная, в чёрных роговых очках, с большой родинкой между верхней губой и носом. Прямо — тот самый лысый мужик, которого он видел утром около больницы. Справа — ещё одна женщина, прямая и дородная, возвышающаяся над столом, как гора. Эта смотрит прямо, на пальце теребит толстое кольцо и тихонько мычит.

Пашка назвал фамилию. Чёрненькая быстро нашла пачку его документов и, начав листать, стала невнятно торопливо читать.

— Когда упал, трезвый был. — Мужик, приподняв плечи, был похож на орла, — и что, действительно, одиннадцатый дней был без сознания? — Пашке было стыдно, он ведь был выпивший тогда, но ответил утверждающе.

— А как же ты выжил? — чёрная с недоверием шевелила бумажки, — может, и не так всё страшно было?

Пашка совсем потерялся. Помолчав, ответил, стараясь держать себя в руках:

— Может и не страшно, не помню, точнее не знаю, какой был тогда. Но сейчас очень голова болит, почти постоянно. И тошнит.

— Понятно, — прервал его врач-мужик, — раздевайся до трусов.

И началось. Сначала к себе подозвала врач-Гора. Эта стучала по коленям, проводила острой ручкой по животу, отчего Пашка вздрагивал, заставляла показывать язык и доставать рукой до носа. Все эти манипуляции она громко озвучивала: «Реакция нормальная, язык чистый, немного правит, координация нормальная, в нос попал со второго раза.»

А Пашка, слыша всё это, как мог, старался, как бы желая понравиться врачам. Подошёл Лысый. Этот сначала заставил опуститься на корточки, затем, держа сзади за плечи, приказал подниматься. Подняться было очень трудно, но Пашка, отчаянно напрягшись, заваливаясь на левую ногу, всё-таки встал.

Хорошо, — Лысый показал на лежак за ширмой, — ложись. Руками согнул ему колени, потом подал обе руки, с выставленными указательными пальцами, — жми сильнее, сильнее.

Пашка жал, что есть силы, так жал и старался, что вспотел. Лысый тоже что-то комментировал, но быстро и невнятно, поэтому в голове Пашки ничего не оставалось.

Потом настала очередь Чёрной. Эта заглядывала к нему в глаза через тарелочку с дырочкой, просила повторить скороговорку, которую он довольно чётко повторил. Потом, смотря в глаза, спросила, вдруг:

— Какие праздники знаешь? — Пашка сразу не мог вспомнить, но, подумав секунды три, ответил:

Новый год!

— Хорошо, а ещё?

«Что-то дуру гонят, путают что ли?» — он вспомнил, обрадовавшись: — Пасха!

Чёрная улыбнулась: — Хороший праздник, а ещё?

«Что ты, блин, пристала?» — подумал Пашка, а вслух сказал: — День рожденья! Чей же?

— Как чей — мой! Ваш-то, какой мне праздник? Все по очереди негромко засмеялись. У Пашки отлегло от сердца: «Ну, наверное, всё нормально, не зря мучился». От сознания, что всё вроде получается, ему стало как-то вдруг хорошо, и он вместе со всеми тоже засмеялся.

— Ну, одевайся. — Чёрная что-то дописывала в листки, пока Пашка одевался. Потом он опять сел около её стола.

— Ну что ж, Алексей Олегович, я не вижу у этого молодого человека никаких причин на инвалидность, всё у него более-менее нормально. Как ваше мнение? И ваше, Наталья Аркадьевна?

Лысый сказал, что по травматике всё хорошо, а врач-Гора, оказавшаяся невропатологом, тоже выдала положительную резолюцию.

Здоров!

— В общем, молодой человек, медицинская комиссия в составе врачей высшей категории (она назвала всех по имени-отчеству, с озвучиванием медицинских регалий, назвав себя Аллой Наумовной), не нашла у вас показаний для назначения вам инвалидности.

У Пашки отнялся язык. Он, конечно, не считал себя совсем уж конченным, но, не притворяясь, далеко не был здоровым.

— Да нет, это. я работу не брошу, мне бы лекарства, чтобы подешевле, всё так дорого — не купишь, а голова болит. — Он поворачивался через плечо то вправо к Лысому, то влево — к Горе.

— Мне не работать нельзя, у меня же дети, их надо поднимать.

— Вот что, молодой человек, тебе же компетентные люди говорят, не положено, и все органы у тебя нормально работают. С нас же тоже за вас спрашивают и проверяют, не можем же мы всем подряд лепить инвалидность только за то, что детей надо кормить? — Лысый, поднявшись и оперевшись о стол, был опять похож на орла. На его лице было написано такое возмущение, что, по его мнению, Пашка должен был сгореть со стыда.

— Не положено?! А кому положено? Толстому буржую, у которого детская травма мизинца на левой ноге, ему? Или его теще, у которой изжога от мучного? Или кому-нибудь, кого судят за миллионные взятки, в суд предоставить, мол, инвалид? Так, да?

Лысый, поняв, что этот парень слышал его утренний разговор и, покраснев, как рак, заорал:

— Вооооон! Я милицию вызову за такие слова. воон!
Алла Наумовна, отдайте ему его филькины грамоты и пускай убирается к чертям собачьим.

Чёрная сунула Пашке его документы и он, не успев опомниться, оказался в прихожке. Там все слышали крик Лысого и громко заругали Пашку:

— Что, не прошла халява на этот раз? А то всем раздавать инвалидности — так и не хватит настоящим больным.

— Да пошли вы все! — Пашка хлопнул дверью и выскочил на улицу.

* * *

На улице шёл дождь. Отойдя метров пятьсот, он поднял голову, и дождь мягким душем пролился на него, освежая и остужая разгорячённое лицо. «Да что же я, как слабак? Что, не проживу без этой подачки? Может, куда подкальмить подамся, может, кому что на тракторе помогу. А голова... голова пройдёт. Говорил же мне кореш, что постепенно ко всему человек привыкает, вот и к этому привыкну».

Пашка остановился возле урны, посмотрел по сторонам и, удовлетворенный, аккуратно положил папку в неё. постояв несколько секунд, поднял ногу и с остервенением забил её ногой на самое дно урны, не просто, а приговаривая: «Кто инвалид, а?... Кто инвалид?... Выкуси те.»

Устав, он ещё раз посмотрел на смятую грязную папку и, вздохнув, улыбаясь, пошёл на остановку.

... Он приехал домой и стал работать с ещё большим остервенением, чем раньше. За это ему дали новый трактор «Беларусь». А через два года, вспахивая поля под озимые, он почувствовал себя плохо. Хотел остановиться, но не успел. В голове что-то оглушительно лопнуло и красный туман застил глаза.

Когда в поле привезли обед, то увидели трактор, упёртый в околке в огромную берёзу. Колеса прокопали глубокие ямы, и трактор уже висел на мосту. В кабине на руле лицом лежал Пашка, сжимая рукой рычаг скоростей.

Отцу своему любимому
и непонятому посвящаю...

Все там будем!

Александр Иванович отдыхал после бани. Правильней сказать, «остывал». Нонешняя весна с теплом не заладилась и, хотя во дворе уже 5 апреля, снег лежит, почти не тронутый солнцем. Александр Иванович скучал по теплу и, чтобы компенсировать его природное пока отсутствие, каждую субботу топил баню «до жару». Сегодня было, как обычно. Баня, растопленная с утра, хорошо прогрелась, натомилась и ждала хозяев. Но бабка, как и сам хозяин, любящая тепло, вдруг отказалась.

— Что-то голова загудела, кабы хуже не вышло. Иди без меня, я потом, позже, когда немного выстынет, обмоюсь.

Хозяин спорить не стал и в шесть часов вечера, как по расписанию, пошёл.

Парился он долго, не торопясь, но и не играя своей выдержкой. Не перед кем.

Когда часа через три зашёл домой, бабка, лежащая в дальней комнате на своей «законной» панцирной мягкой кровати, прокричала ему:

— Там, дед, идол этот, телефон твой разрывался, пока тебя не было. Прогляди, кто звонил. Поди, ребятишки что.

Дед, устало растянувшись на покрытом диване, ответил:

— Никуда не денется. Отдышусь — перезвоню.

Минут через двадцать, поднявшись и надев для «чёткости» очки, сообщил бабке:

— Старшой звонил, — и нажал вызов. Потом несколько минут бормотал что-то в телефон, иногда восклицаниями высказывая удивление, но глуховатая бабка, хоть и прислушивалась, переставая дышать, ничего не поняла! Наконец дед отключился и босоного прошлёпал к ней в комнату. Увидев его растерянное лицо, она заволновалась:

— Ну, чего там, что молчишь, как пень? Говори скорей.

Дед выдохнул воздух, потом поглубже вдохнул и обречённо сказал:

— Племяшка моя, Валя, померла!

Бабка от неожиданности крякнула и, быстро перекрестившись, высказала:

Она же молодая совсем. Поди, шестидесяти нет?

— А там хозяин не смотрит на возраст, — не прерываясь, ответил Александр Иванович, ткнув пальцем в небо, — надо ему, он пшик — и к себе.

И, отвернувшись и прошлепав в «свою» комнату, тихонько заскулил, не сумев сдержать нахлынувший плачевный спазм. Плакал он не долго, но слёзно, промакивая глаза висящим на шее полотенцем. Потом, красноглазый, вернулся к бабке и договорил:

— Меня Коля завтра с автобуса встретит утром, и пойдём к ним. Они её решили прямо там, в городе похоронить, ближе к себе. Сначала в больнице отпоют в храме и сразу — на кладбище, не по-людски, то есть.

Дед опять ушлёпал в комнату, упорно не желая показывать бабке своих слёз. Бабка же, не слишком хорошо помнившая покойницу, немножко конечно помокрела глазами, но потом со спокойным отношением к смерти всех старых людей, перекрестилась и прошептала:

— Господи, помоги ей обрести покой в царствии твоём. Помоги, Отец, душе её грешной, аминь, аминь, аминь.

Утром Александр Иванович, одетый по-стариковски, но опрятно, стоял на остановке. Его родню, редко приезжавшую в гости, мало кто знал в деревне. К тому же пожилые в город ездят очень редко, поэтому дед стоял одиноко в стороне от кучки людей и ни с кем не общался. В общем, никто не знал, зачем едет в город Александр Иванович К., семидесяти пяти лет от роду.

— А так и лучше, — думал он, наблюдая за людьми...

Сын встретил его, как и обещал, около автовокзала и они поехали в больницу, вернее, в больничный небольшой храм, где отпевали не сумевших излечиться больных. Среди прощавшихся родственников он сразу узнал мало изменившегося её мужа и всех взрослых, которые были ему знакомы. Вполголоса поздоровавшись и посочувствовав по очереди всем, прошёл в храм. Покойница, оставшаяся такой, какой он её запомнил несколько лет назад по последнему её приезду, спокойно спала в аккуратном блестящем гробике с пластмассовыми декоративными ручками.

— Я бы лучше справил, — с досадой подумал дед. Постояв несколько минут в напряжённом скорбном молчании у тела, подержал руку на её руке и, приложившись губами к холодному венчику на голове, вышел на улицу. Он просто боялся расплакаться в храме, поэтому решил отдышаться. Около храма народ негромко общался, видны были даже улыбки.

— Жизнь-то идёт, — как обычно в таких случаях сказал дед сам себе, — идёт, поэтому она и жизнь...

Ровно в час опрятные здоровые парни загрузили гроб в тёмный катафалк, и не очень длинная процессия, быстро потеряв свою скорбность, понеслась на другой конец города на кладбище.

Минут через сорок, из-за постоянных пробок, въехали в широко открытые и заваленные снегом кладбищенские ворота. Проехав метров триста, остановились на расчищенной от снега широкой площади с похорон

ным магазином и деревянным широким туалетом. Дед побежал к нему, ругая себя за любовь к утреннему чаю...

С центральной площади расходились пешеходные дороги в четыре стороны. Гроб вынесли из катафалка и поставив на табуреты. Провожающие стали прощаться. Это очень удивило деда, обычно последние прощания уже у могилы. Но он промолчал и всё делал, как все, не торопясь и обнажив седую голову. Через несколько минут гроб закрыли, соблюдая всю последовательность действий, предусмотренных ритуалом.

— Наверно, донесут и там ещё будут прощаться, — подумал дед. Дорога, по которой несли, сузилась до широкой тропинки и люди выстроились в ряд, уже смотря в основном под ноги. И когда колонна остановилась, он, сойдя с тропинки, растерялся. Могила была выкопана среди оградок, буквально наклепанных одна на другую. Он, предположив, что чего-то невидит, полез по пояс в снег вперёд.

Но, действительно, могила была впритык к чужим оградкам настолько близко, что место было только для прохода одному, и то кое-как. Дед ошарашенно обратился к высокому могильщику, стоявшему на горке глины:

— Что это, скажи, родной? А куда столик, лавчонку? Где поминать, когда время придёт?

Могильщик, улыбаясь, ответил:

— Это коммерция, отец, тут не до жиру.

Всё! За остальным оскорблённый дед уже не наблюдал. И только, когда кинув горсть мелочи в могилу, и услышав её глухой стук о гроб, с болью понял, что его племянница уходит в бесконечность.

Сын быстро довёз его до автовокзала, и уже вечером дед заходил домой. Бабка, целый день хворавшая, настолько ему обрадовалась, что соскочила с кровати, чуть не упав от головокружения. Он даже немного растерялся, увидев её неподдельную радость.

— Ну, расскажи, отец, как там родня, как погребение прошло?.. Что люди говорят?

Дед, понимая, что она ни в чём не виновата, всё равно еле сдерживал злость.

— А так и прошло, как по маслу. Всё чужими руками, быстро, чисто, без хлопот. Как трудно жить, так легко похоронить. Давай, пожалуйста, поужинаем, я на поминки не пошёл, чтобы не опоздать на автобус, голодный. Ну, а за ужином уж тебе расскажу, — и он пошёл мыть руки.

* * *

Двадцать второго апреля, в день рождения великого, по мнению деда, человека — В. И. Ленина, дед вошёл в сельский совет. Председателя его, Князьева Виктора Александровича, он знал ещё ветеринаром, работником совхоза. И тот его помнил, поэтому встретил радушно. После обмена любезностями председатель спросил о цели визита.

— Да, именно, — дед, не зная, как начать, смущённо откашлялся. — Ты меня, Витя, давно знаешь. Я по плёвым делам не прихожу. И вот, что сейчас скажу, очень для меня важно. В общем, нужна мне земля. Совсем немного, но наовсем.

— Ну, Александр Иванович, у тебя же законный участок за тобой, навсегда. И по наследству он твоим детям перейдёт, не волнуйся. Или внукам. Как сам решишь.

— Да нет, не так понял. Мне на кладбище надо участок. Квадратов девять, думаю, хватит. Подсоби властью. Я, понимаешь, самовольно не привык, как-то стыжусь по-хищнически.

Виктор Александрович внимательно посмотрел на деда и, не найдя в глазах смеха, наконец выговорил:

— Зачем? Дед помолчал.

— Место себе и бабке застолбить, на смерть чтобы. Похорошему хотим мы с ней упокоиться, без давки и суеты. И чтобы люди могли добрым словом помянуть в положенные дни. Смерть-то она, Витя, не жизнь. Смерть — это надолго...

Виктор Александрович растерянно молчал, глядя на деда, сидящего просительно на краю стула и мявшего шапку.

Вот ведь как! Ему и всем, наверное, им, дедам, важно не только, что о них говорили и говорят при жизни, им важно и очень, что и как скажут про них и после смерти! И, наверное, после ещё важнее, ещё правильнее.

Дед, совершенно уверенный в правоте и логичности своей просьбы, не торопил, терпеливо сидел, понемногу начиная потеть. Но раздеваться не решался, надеясь, что дело не затянется.

— А как я тебе это все узаконю или правильной будет сказать — оформлю? Мол, вот девять квадратов земли в долгосрочную аренду или в бессрочную? Так?

— Да, наверное, так, Витя, давай в бессрочную. Я-то и все, кто там лежит, надемся, что кладбище не станут перекапывать или сносить. Оно же у нас за деревней, в лесочке, никому не мешат.

Председатель, теперь без улыбки, вновь внимательно вглядывался в деда.

— Значит законную бумагу надо, с печатью гербовой, так?

Дед кивнул и, посмотрев на кулер с водой, сглотнул сухую слюну.

— Можно, Витя, глоточек? Горло пересохло от волнения.

— Давай, Александр Иванович, а я пока покумекаю. Такую бумажку выдавать не приходилось ещё, хотя бумаг перелопатил гору.

Через пять минут бумага была готова! Рука Виктора Ивановича, узаконенная властью, вывела на непорочно белом листе: «В бессрочное пользование К. Александру»

Ивановичу 9 квадратов земли, на территории кладбища деревни Б., в узаконенных границах того. Председатель с/с: Князьев В. А.» И печать.

Дед, из гордости медля и слеповато щуря глаза, перечитал бумагу.

— Вот, годится. Понятно и доступно! — и сам, потерявшись от непонятого определения, торопливо закончил, — ещё дай вон салафанку просвечивающуюся, чтоб документ не загадить, — и, задохнувшись длинными словами, засунул листок в специальный пакетик и, молча пожав протянутую руку власти, изнывая от жары, быстро вышел.

На улице, наконец, расстегнул свою, конца восьмидесятых годов двадцатого века, ещё совсем «новую» болоневую куртку, пошёл на дорогу, ругая беззлбно холодную утроем и жаркую днём весну.

Добравшись на попутках до деревни, решил сразу договориться с кем-то о помощи, которая, несомненно, понадобится.

Почти в центре деревни, у памятника воинам Великой Отечественной, жил приезжий мужик, серьёзно и часто пьющий, но не отказывающийся от любой работы, приносящей доход на алкоголь. Переселили его сюда из города, как он сам говорил, за долги. Звали его Саня, а фамилию он не говорил, поэтому местные, не долго думая, назвали его Санька Памятник. Был он высокий, худой и желчный, почти всегда заросший густой седой щетиной. Отличался от себе подобных он одной гадкой чертой. Говорил мало, но, когда говорил, то постоянно крыл матом! Причём, о чём он матерился, было совершенно понятно. Незнакомым, конечно, резало слух, но местные внимания почти не обращали, пытаясь только не разговаривать с ним при детях.

Саня сидел на прогревшемся «высоком крыльце» в дырявых носках, из которых торчали чёрные ногти, и курил обязательный «Беломор». Ограда, находящаяся в

тени, полна снега, но на замечание об этом деда, Памятник лениво разъяснил:

— А кто мне... так через так... едри... твою и его... за это заплатит? Сам же я себе не смогу заплатить...так через так, туда и оттуда и там маленько.. , не будет того кайфа от денег.. , — и опять мат.

Дед, испугавшись гадких слов, перекрестился и начал:

— Саня, мне твоя помощь нужна. На кладбище надо сходить, место там одно расчистить.

— Да там же ещё снег... раз через раз, два через три, как там уберёшь?

Не сейчас. В начале мая, как оттаяет всё, обсохнет.

— А! Ну, сходим, а зачем тебе место? Помер кто?

— Нет, но собирается. Меня просил место подыскать. за тысячу рублей, получше! Поможешь, тебе половину отдам.

Саня, приоткрыв красный, полубеззубый рот, ничего не понял, но, услышав про деньги, согласился.

— Конечно, сходим, сделаем. Только аванс дай, душа горит со вчерашнего.., так через так, ё-через е и ещё маленько гаже.. , а как обсохнет, подходи, помогу.. , — и уже хотел снова перейти на складный лай, но дед, быстро всучив ему сто рублей, выскочил за ограду.

— Да чтоб у тебя язык в другую сторону перевернулся, чтобы ты в себя говорил!!! — и, довольный уже видимой в деле удачей, побежал домой.

* * *

Бабка ждала к обеду. Но, не разобравшись, что затеял дед, спокойно сидеть не могла.

— Я смотрю, старый, весна тебя бодрит, как тополь вековой. Уже посох совсем, а листочки лезут кое-где... Куда это ты с утра пораньше слетал, как на гулянку снаряжённый?

Дед понимал, что вступать с ней, которую знал за пятьдесят лет досконально, в диспут не слишком пра

вильно, но, поскольку дело касалось и её, решил объяснить ситуацию.

— Я надеюсь, старая, ты не собираешься вечно жить? — он, снявший с себя горячую одежду и ополоснув лицо, присел к столу.

Бабка, не донеся до стола тарелку с борщом, оставилась и, продолжая держать полную её на уровне груди, заголосила:

— Ах, это вон он чё! Уже определяешься с наследницей! Ну, и как дела твои козлиные? А я ему: «Тополь!» Хоть и старый, а всё равно имя хорошее! Думала, он что-то дельное, по хозяйству, а он подмену затеват.

Она брякнула тарелку на стол, выплеснув густой борщ со свёкольными кусочками, какой очень любил дед, и тот кровавым пятном пополз по скатерти.

— Что же теперь, всё? Поспешать мне? Собираться? — она, как молоденькая, нырнула в спальню и упала лицом в подушку.

Дед, не ожидавший такого, растерянно зачем-то оглянулся на дверь и окна и, поднявшись, стараясь не скрипеть полом, подошёл к двери.

— Да я не об этом. Я, наоборот, о другом, чтобы всегда вместе быть и остаться с тобой. и здесь и там, прости, Господи!...

Бабка, действительно, как девчонка, затихая от плача, пока он говорил, сквозь слёзы спросила:

— Как это так? Чтобы и здесь и там, неизвестно где? Ты про что опять мне врёшь, ходок? Уж попался, так давай рассказывай всё!!!

— А я и так хотел рассказать, только ты кончай, не вой, как о покойнике! — дед запнулся и продолжал, — вообще, не вой никак, говорю.

Бабка, неожиданно быстро прекратив плач, перевернулась и, залезая на кровать с ногами в светлых шерстяных носках, кивком головы согласилась слушать!

— В общем, я выпросил у председателя сельского совета землю на кладбище нам с тобой на могилы. Дал

он мне бумагу, — дед подал бабке листок, — с разрешением облагородить девять квадратов земли. Вникаешь, нервная?

Бабка, шевеля губами, дочитала листок.

— А что так много? На троих, что ли, действительно, набираешь? Думаешь, я раньше сложусь, а ты всё-таки успеешь ещё с одной «пожить до смерти»?

— Да о чём ты говоришь, глупая? Я там столик сделаю, скамеечку. Чтобы помянуть можно было, посидеть, повспоминать нас внукам, — и дед, огорчённый, вышел.

Через пять минут выплыла хозяйка и, аккуратно налив нового горячего борща, извинительно заговорила:

— Ладно, дед, правильно, молодец ты у меня. Садись, обедай, потом надо с козами управиться, да отделить их. А то молодая окотится, боюсь, старая затопчет козлёнка... — И она, улыбаясь самому родному в жизни человеку, стала нарезать хлеб.

1 мая после обеда дед Саня К. и просто Саня Памятник, взяв с собой грабли, топор и ножовку, сходили на кладбище и расчистили квадрат 3 x 3 между трёх берёз, стоящих полукругом. Дед разметил столбиками оградку, захватив в границы одно дерево, пришедшееся как раз в угол ограждения.

— Да она хорошо, мешать не будет. И какую-то прелесть придаёт, жизнь!

Санька, молчавший до сих пор, начал матами высказывать своё восхищение, и дед, ревниво к этому относящийся, еле уговорил его замолчать.

Основные работы решили провести завтра, поэтому Санька должен был прийти пораньше и притащить столбики, вернее, привезти на мусорной тачке.

— Всё нормально будет. Завтра сделаем до обеда, если земля стылая отошла. И я заплачу тебе, как договорились.

А Санька, восхищённый тёплой погодой и солнечным весёлым днём, и птицами, летающими вокруг, и всем таким, ожидаемым весной, высказывал своё восхищение, исключительно непотребной речью...

Но назавтра дал обещание на кладбище не материться.

— Только ты, дед, купи бутылочку водочки, а то мне не интересно здесь среди крестов с тобой день насухо топтаться, — и уже хотел продолжить по-своему, но, вспомнив обещание и посмотрев на деда, передумал. — Да ты и так всё понял, — и ускорил ход, торопясь в деревню к магазину.

* * *

Ах, как хочется жить! Как ещё хочется, Боже Правый! Ходить своими ногами, работать своими руками, чувствуя в них неуснувшую силу. И однажды, захлебнувшись от восхищения жизнью, сделать из тёплого снега снежок и вдруг вспомнить, как давным-давно, трёхлетним пацаном, скатал свой первый, ещё малюсенький снежный шарик. И как отец, огромный и громкий, театрально падал в снег, сбитый тобой этим снежком! И смеялся ты, и картаво кричал, что очень любил папу, а тот брал тебя на руки и подкидывал в небо.

Где было это всё семьдесят с лишним лет назад? И почему сейчас всплыло, как будто вчера, обрадовав память и испугав разум? Ведь всё идёт к концу и только память убеждает тебя в том, что ты не уйдешь в никуда, а переродишься ещё и ещё раз.

Дед почувствовал, как защипало глаза от нахлынувших чувств и, дождавшись, когда снег стечёт с тёплых ладоней, вошёл в дом.

* * *

После ужина он, долго молчавший, заговорил.

— Хорошее место подобрали. И не в лесу, и не на дороге. Ещё берёза молодая в уголочке стоит, как

сестрёнка белая, родная, понятная — но молчащая.

Бабка испуганно присела и, прикрыв рот фартуком, тихонько сказала:

— Ты это брось, Саша, брось. Поживём мы ещё с тобой сколько-то, не переживай.

— Да не переживаю я и в уме своём. Но засело мне в душе, что человек не собака, нельзя с ним как попало. Ни с живым, ни с мёртвым — нельзя. Как нам понять это грешным, ведь не было бы живых без мёртвых, и наоборот. И вот думаю я, что хорошему человеку Господь ещё жизнь даст и испытания, конечно. И, если ты их выдержишь, тогда он тебе и ещё... А плохому, сама смотри, разве можно позволять ещё раз гадить? Но только ему это решать, Господу, а не нам, рабам его. И то, что сделаю я себе место, покаяния достойное, так придут люди, помянут меня добрым словом, а Господь — раз, на счётах, щёлк! А к другому, будь он трижды хорош, и подойти никак, и посидеть повспоминать его не получится. А Отец проследить не сможет, вон нас сколь у него?! И станет на земле ещё одним не рождённым хорошим человеком меньше. Вот как!

Бабка, ошарашенная логикой деда, тихонько качала головой, но уже не смеялась. Ей тоже хотелось ещё раз пожить! Даже мужиком, будь они трижды не ладны.

Всё же молодец муж её, Александр Иванович, умный и серьёзно мыслящий человек. Слава Богу! В эту ночь, увлечённые мыслями о жизни и смерти, долго не спали дед с бабкой, разговаривая через открытые комнатные двери.

* * *

Утром Памятник пришёл в начале девятого. Долго не собирались, всё было готово, и он, впрягшись в телегу, поволок пропитанные жидким кузбасс-лаком столбики в сторону кладбища. Дед решил сделать оградку деревянную, только не жиденькую из реечек,

как у упокоившихся старушек, а нормальную серьёзную ограду, сшитую повдоль неширокими, опять же пропитанными лаком, досками. Лавка и стол были у него давно готовы и стояли в предбаннике. Их он решил увезти попозже, к родительскому дню. Вообще, пока, слава Богу, здесь никто с его фамилией не покоился и, как справедливо по природе, ему и начинать, как самому старому. Ни напряжения, ни волнения по этому поводу дед не испытывал. И даже ловил себя на мысли, что немножко гордится тем, что собирается сделать, представляя, как заметно это будет выделяться среди железных, часто неаккуратных оградок. Гордился так, как хороший хозяин своею новой баней, выделяющейся на фоне старых соседских.

Памятник, вкопав по разметкам столбы, отряхнул руки от налипшей земли и, выпив рюмку водки, курил свой «Беломор», присев на корточки.

Утреннее солнышко, нагревая тёмную, ещё без свежей травы землю, выпаривало из неё влагу, мерцающую блестящими волнами в ярких лучах среди деревьев. Он так поразился этому впервые увиденному явлению круговорота воды в природе, что сразу подвёл под эту практическую базу:

— Вот вишь ты, дёрнул рюмашку и сразу прозрел, а ведь вчера тут же сидел и ни хрена не видел. — Но деду эту теорию не высказал, зная, что тот всё равно не согласится.

Дед всё делал сам, по ходу дела разговаривая с помощником.

— Вот послушай, Саня, когда это случится, дай Бог попозже, ты же всё равно попадёшь в похоронную команду, так?

Памятник, сидевший уже на куске доски под задом, привалившись спиной к берёзе и радующийся охватившей его эйфории, подумав, ответил:

— Вполне логично Я это дело знаю! Но, сразу скажу, не всегда соглашаюсь, поскольку иногда умирали люди,

очень мне неприятные. Но тебя, Александр Иванович, погребу со всеми почестями, присущими уважаемому человеку.

— Ишь ты, ну, спасибо! Только я как раз об том. Когда будете могилу рыть, землю старайтесь аккуратно откидывать, не валите куда попало. Вот здесь,— он показал Сане, заставив его подняться, — я доски подошью маленькими гвоздями, и ты лично перед началом работы их аккуратно вырвешь, а по окончании прибиёшь нормальными гвоздями. Понял?

Саня, серьёзный и внимательный, легонько кивнул головой, явно пытаясь что-то сказать.

— По этому поводу всё понятно. А если бабка раньше, не дай только Бог, уж лучше я сам здесь буду и самолично покажу. И ещё просьба, Саня, не ругайся матом, когда всё делать будете здесь, прошу. И не напивайся сильно до окончания дела!

Памятник клятвенно заверил деда и, сев, налил ещё рюмку. Дед закончил работу и, выйдя из оградки, махнул рукой:

— А налей-ка мне, парень, грамм пятьдесят, ведь нужное дело мы с тобой сделали. И правильное!

Александр Иванович присел, по-старчески подогнув под себя ногу и отломив щепотку хлеба, выпил горькую жидкость. Памятник поднял глаза.

— А я вот помру, некому будет меня помянуть добрым словом. Вот, мол, Саня Гринёв, он же Гриня в юности, лёг насовсем и лежит!.. Нет ведь у меня, дед, никого вообще, кроме сына уже взрослого. Только он, как сел в двадцать лет, так и сидит безвылазно уже седьмой год. И меня за его долги чуть жизни не лишили и выселили вот из города к вам. Но, если честно, я даже рад. В городе давно бы уже кончился, а здесь всё у меня хорошо, в плане живой и сытый, пока. Пробовал даже жену свою бывшую найти, только бесполезно. Давно она пропала где-то безвозвратно, очень уж увлечённая была алкоголем. Всё ему и отдала.

Саня долил себе и деду, выпил и, прикурив, засобирился неторопливо.

— Видишь, уже и не матерюсь почти, желание пропало рот марать...

Дед тоже поднялся и они, собрав весь инструмент в пустую коляску, покатали по ярко-чёрной, ещё без пыли, дороге: Саня, согнувшийся над тачкой, плавно, как большая цапля, переставляющий ноги, и Александр Иванович, немного семени, едва поспевающий за ним. Уходили из покоя в суету, в свой временный, но родной мир, которым каждый по-своему, как считал правильно, дорожил.

* * *

Взобравшись на насыпь дороги, оба обернулись к кладбищу. Александр Иванович, чуть отдышавшись, заговорил, словно продолжая начатую мысль:

— Ну, вот и хорошо! Ну, вот и слава Богу! А сейчас пускай подождёт ещё годков побольше десятка! Теперь есть у нас место с бабкой и можно, вообще, не торопиться, пожить спокойно, не волнуясь. Так же, Саня?

Саня, радостно ощерившись, вдыхая прокуренными лёгкими влажный сладкий весенний воздух, серьёзно ответил:

— Конечно, Александр Иванович, надо пожить. Торопиться совершенно некуда, нам и здесь хорошо, — и, не справившись с переполнявшими его чувствами, матюгнулся без зла и совсем негромко... Наверно, в последний раз.

19.04.2013 г.

Игорь Александрович Кожухов

Булёмина любовь
(рассказы)

Редактор	<i>Е. Мартышев</i>
Корректор	<i>В. Лисицына</i>
Художник Макет	<i>А. Повилайтис</i>
обложки	<i>С. Мельникова</i>
Оригинал-макет	<i>В. Парфенов</i>

Редакционно-издательский центр
«Новосибирск» НПО СП России г.
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32 тел.:
(383) 227-09-68

Формат 84x108 1/32. Гарнитура Камбрия.
Печать офсетная. Печ. л. 7,00. Тираж 500
экз. Заказ № 951.

Отпечатано в СП «Наука» АИЦ РАН.
630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского,